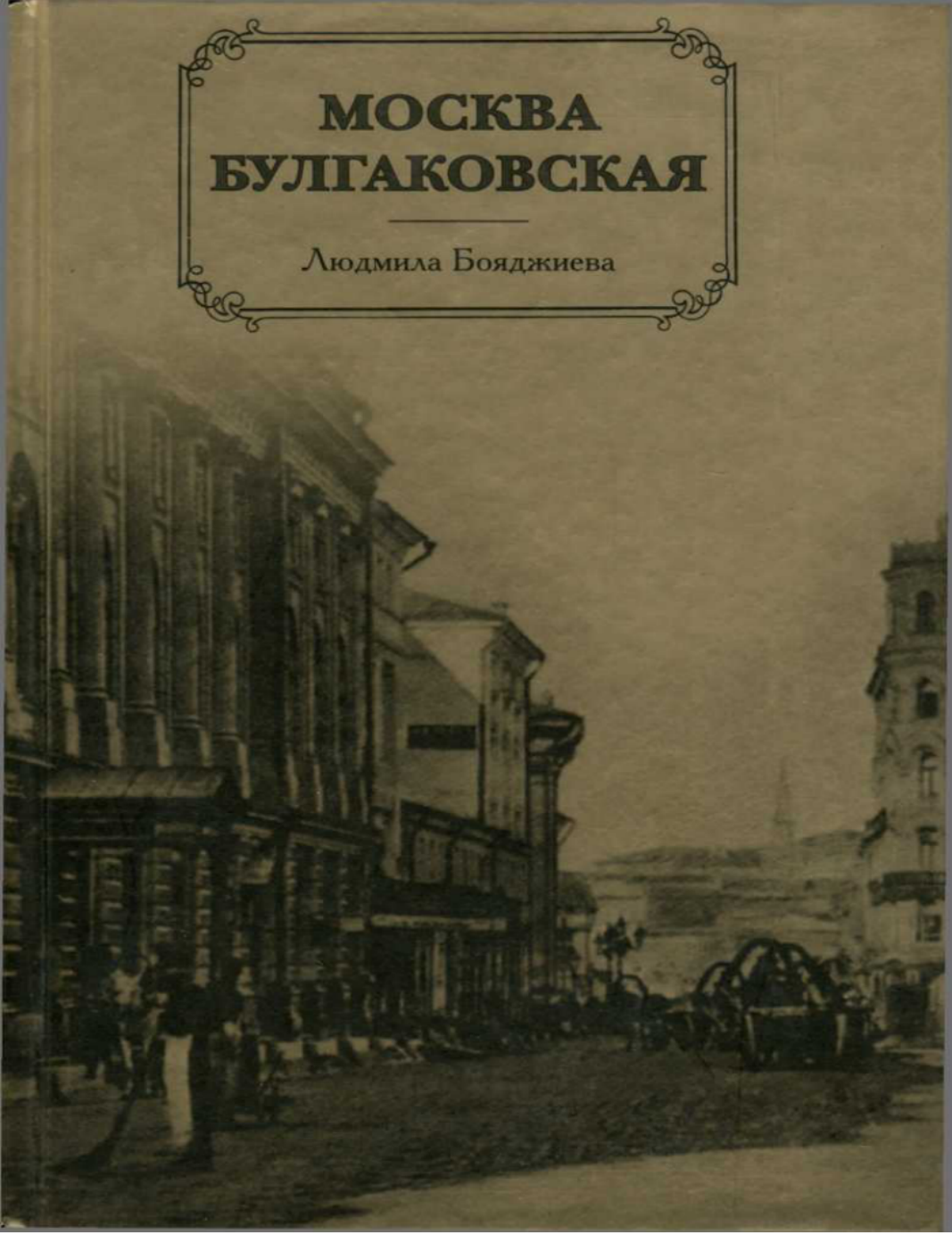
МОСКВА БУЛГАКОВСКАЯ

Людмила Бояджиева



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Москва была для Михаила Булгакова особым, мистическим городом. Здесь он влюблялся, женился, творил, играл в театре, издавался, бедствовал, умирал… Здесь он получил известность, обзавелся врагами, был гоним и возвеличен, вознесен и растоптан.

Благодаря воображению великого писателя булгаковские адреса до сих пор живут своей таинственной жизнью: квартира № 50 в доме 302-бис по Садовой улице, ставшая на время пристанищем самого Сатаны и его свиты, не зря заслужила репутацию «нехорошей», а на Садовом кольце, иногда до сих пор видят прогуливающегося кота Бегемота…

Три женщины, сыгравшие в его судьбе важную роль, появляются на страницах этой книги — терпеливая и преданная Тася Лаппа, элегантная и аристократичная Любовь Белозерская, Елена Шиловская, которую многие называли за глаза настоящей ведьмой. Кто из них стал музой писателя? Кто послужил прообразом знаменитой Маргариты? Читайте об этом в новой книге Людмилы Бояджиевой.

- Людмила Бояджиева
  - К читателю
  - Часть первая
    -
    - Тася
    - Тьма египетская
    - На Андреевском спуске
    - Кавказ
  - Часть вторая
    -
    - Квартирный вопрос
    - Любовь Белозерская
    - Глава третья. Голубятня
      -
    - Травля чуждого элемента
    - Любовь настигла их
      -
    - Последний приют
  - Часть третья
    -
    - Москва до визита Воланда
    - Воланд явился. Мастер и Маргарита

Людмила Бояджиева
Москва Булгаковская

Счастье начинается с повседневности. Славьте очаг.

М.А. Булгаков

К читателю

Эта книга предназначена для тех, кто хочет больше узнать о Булгакове — о событиях личной и творческой жизни писателя, получая при этом возможность совершить путешествие по значимым в его жизни и творчестве московским адресам. Она включает рассказ о важных этапах биографии Булгакова, выдержки из его произведений, имеющие непосредственную «московскую прописку», с указанием того места, где происходили описываемые события. В первую часть включен домосковский период его жизни, в который, собственно, и произошло становление писателя как личности и мастера.

Булгаков не родился в Москве. В Москве он прожил почти 20 лет своей недолгой жизни, здесь влюблялся, женился, писал, вышел на театральную сцену, издавался, бедствовал, умирал. Здесь он получил известность, обзавелся врагами, встретил свою Маргариту, был гоним и возвеличен, вознесен и растоптан. Но личностная, мировоззренческая основа Булгакова была заложена не в Москве, не здесь начал накапливаться мощный писательский потенциал. Он приехал в столицу тридцатилетним — нищий, никому не известный, без гроша в кармане дырявого пальто. Но не случилось бы писателя Булгакова, не привези он с собой огромный багаж — готовые прорасти, отчасти уже проклюнувшиеся литературные замыслы. «Записки молодого врача», «Записки на манжетах», «Белая гвардия» — эти произведения, написанные в Москве, родились из того, что уже накопилось в богатой событиями жизни Михаила Афанасьевича. Киев, Владикавказ — главные точки, определившие направления движения на Москву, сформировавшие установку личности на писательство, тип мировоззрения — антисоветский, склад характера — иронический.

И не было бы Москвы булгаковской, не вошли бы в нашу жизнь рожденные им герои, если бы не спасла его молоденькая жена Тася Лаппа от смертельной болезни — морфинизма, не помешал бы тиф уйти с деникинскими частями в Крым из осажденного красными Владикавказа, или не спасла бы судьба звездной ночью в киевских морозных переулках доктора Булгакова от пули петлюровца. Изголодавшись в послереволюционную разруху, он мог бы тайком уехать в Турцию, мог бы пропасть в кровавой бойне гражданской войны, покончить с собой от отчаяния, замолчать навеки. Но судьба хранила Булгакова, чтобы привести его в Москву, и свершилось то, что свершилось: в реальность нашей жизни вошел мир произведений

писателя Булгакова, составил ее часть, важную и неизменно влекущую. Он помог нам стать зорче, богаче, сильнее; научил смеяться сквозь слезы и верить: страх — худшее из зол, любовь — настоящая, верная и вечная, а рукописи не горят, если написаны они кровью сердца.

Часть первая
Путь в Москву

Родился Михаил Афанасьевич в Киеве. Здесь — в семье, в кругу друзей, в самой атмосфере цветущего южного города — зародился и окреп тот особый взгляд на мир, который предопределил яркое своеобразие его писательского дара. Здесь, в «солнечном ударе» первой любви, в испытаниях гражданской войны, его дар закалился, приобрел новые качества. В «домосковскую» эру был и путь «юного врача» в темной российской глубинке, опыт борьбы за чужие жизни и за свою собственную с коварным убийцей — морфием. Была дорога по Закавказью: черный ветер невиданных бедствий вынес Михаила к самому Черному морю — к побегу, к спасению. Но ему выпал иной жребий — не берег турецкий, а Москва, не тяжкая доля писателя-эмигранта, а пыточный путь в советскую литературу.

Начиналось же все в Киеве, в годы фантастические: Россия семимильными шагами шла к процветанию, «огненное колесо» исторической катастрофы не маячило даже дальним заревом на горизонте. «…Это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей родины жило беспечное юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете. Тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег….

… и вышло наоборот».

Тася

1

Родился Миша — второй сын профессора Киевской духовной семинарии — в семье любящей и вполне благополучной. Его молодая мать — Варвара Михайловна, до брака учительствовавшая, родила после Миши еще четверых детей и, возможно, семейство росло бы далее, но помешало горе.

Не дожив двух лет до пятидесятилетия, Афанасий Михайлович Булгаков — крепкий, полный сил и планов, смертельно заболел нефросклерозом, оставив 36-летнюю жену с детьми. Коллеги и Священный синод позаботились о семье профессора. Тяжело заболевшего Афанасия Михайловича срочно сделали ординарным профессором и доктором богословия, дабы

после его смерти вдова и сироты смогли получать пенсию 3000 рублей в год, что даже превышало жалованье умершего кормильца.

То, что старший сын Булгаковых родился особенным, видели все. Говорили: «сорванец, каких мало», «смешлив не в меру», а то и что в мальца «бес вертлявый вселился». Учился Михаил Булгаков в Первой Александровской гимназии, где учились дети русской интеллигенции Киева. Уровень преподавания был высокий, занятия порой вели даже университетские профессора. Худенький гимназист с тщательно зачесанными на косой пробор светлыми прядями и непременным вихром на затылке был грозой гимназического начальства. Учился он отменно, обладая прекрасной памятью, легко усваивал науки и клялся матери вполне искренне: «Я хочу быть примерным мальчиком!» Да куда уж там!

В гимназии Булгаков слыл острословом, высмеивающим преподавателей по любому поводу. Его фантазия бесом крутилась в чинной обстановке образцового учебного заведения.

И все чаще объясняли старшие необычность его поведения прирожденным актерством. Ничего не стоило Мишке передразнить любого знакомого, изобразить гимназического учителя, персонажа литературы или типа из городской жизни. Вмиг рожу скорчит, голос изменит, да и слова словно сами сочиняются — изображает ли аптекаря, или оперного тенора, или смотрителя гимназии. «На сцене парню самое верное место», — пророчили многие. Но нет. Михаил мечтал, перебирая профессии: и пианистом хотелось ему стать, и оперным певцом, и доктором, и в цирке на велосипеде выступать, и романы писать. Что вернее исполнится, сказать было трудно, ко всему он призвание имел. На фортепиано брал частные уроки, любой мотив наигрывал с легкостью, однако до концертирующего пианиста не дорос. Баритон имел приятный, множество оперных арий назубок знал, исполнял в любительских спектаклях с отменным успехом, но в консерваторию не пошел.

Актерство, так и брызжущее в любых жизненных ситуациях, применял в самодеятельных представлениях, бесконечных розыгрышах, спектаклях. Кроме того, на велосипеде ездил виртуозно с выкрутасами, пересмешником был первостатейным, а сочинительство использовал широко — вся молодежная киевская тусовка на нем держалась. И не было в Киеве более приятного, веселого и шумного молодежного дома, чем этот скромный домик на Андреевском спуске, 13. Говорили, что в Булгаковых есть нечто чеховское и уж точно — театральное.

Смерть отца, такая ранняя и нелепая, казалось, разрушила

идиллию. Варвара Михайловна — по матери Турбина — со всей серьезностью взялась поднимать детей. Капитала не было, но учительство, которому она отдала два года до брака, дало навык к обучению. И вскоре все устроилось — приличная пенсия вдовы, подработка казначеем во Фребелевском педагогическом обществе позволяли Варваре Михайловне сводить концы с концами. Без роскошеств, не принятых в кругах интеллигенции, но и без нужды. А дома «белая королева» (как называл мать Алексей Турбин) все так наладила, что и дети росли в радости, и в обучении не отставали — было чем гордиться.

На зиму Булгаковы переезжали в большую семикомнатную квартиру. Жили они там же, где и Турбины в романе «Белая гвардия»: Андреевский спуск (переименованный в романе на Алексеевский), 13, строение 1, квартира 2. Это было совершенно необычное семейство — скуки, уныния, баловства бесшабашного и в помине не было. Девиз жизни — радость, творчество, смех. Ох, и смешливое было семейство! Однажды Михаил сказал другу про кого-то: «Ты представляешь, этот индюк сам признался, что у него нет чувства юмора! По-моему, уж лучше бы ему застрелиться!»

Юмор — глава всему. Юмор, честность, порядочность и, главное, отсутствие страха и сохранение достоинства — вот так выглядел кодекс чести молодого человека. Он рано понял, что страх — «начало самых страшных болезней», а потом, в процессе накопления житейского опыта, к ненавистным человеческим порокам прибавилась зависть.

Все дети помогали друг другу и матери в обучении и ведении дома, старшие сыновья — Миша и гимназист Николка — подрабатывали репетиторством, дочки были приучены к хозяйству. Всю компанию: троих мальчиков, троих девочек и молодую смешливую мать, голосистых, хорошеньких, образованных, — объединяло настроение увлекательного творчества. Шутки и розыгрыши были образом жизни семьи, как и общая любовь, доверие и верность нравственной чистоте. Цветник, посаженный собственными руками, писание вместе с детьми скетчей, музицирование, беседа с каждым из отпрысков на важные темы — вот был круг основных обязанностей уважающей себя матери. Горничная и кухарка, имевшиеся в каждой интеллигентной семье, освобождали хозяйку дома от трудоемких бытовых проблем — закупки продуктов, готовки еды, стирки белья, уборки, растопки печей и колки дров… Трудно было даже предположить, сколько бытовых проблем решит технический прогресс через несколько десятилетий.

Все дети Булгаковых играли на музыкальных инструментах,

пели, обожали участвовать в инсценировках, домашних спектаклях. Все ходили в театр, на симфонические концерты, много читали и спорили. Из окон дома 13 доносились смех, пение, звуки фортепьяно, гитары, балалайки, одно время даже волторны.

Нечетные субботы у Булгаковых были известны на весь Киев — танцы, музыкальные вечера, шарады, спектакли привлекали молодежь из знакомых семейств. И заводилой всех затей непременно был Михаил. Лет тринадцати приник к Салтыкову-Щедрину и решил, что относиться к окружающему надлежит только с иронией. А уж Гоголь — Гоголь стал кумиром и наставником. И Чехов — молодежь разыгрывала его одноактные пьесы, скетчи. Михаилу ничего не стоило перевоплотиться в одного из чеховских персонажей — дрожащего чиновника, гневного начальника, отца дачного семейства. Он постоянно сочинял — комические стишки о жизни в Буче, сценки, фельетоны, пьески для своей «труппы», и не мог дня прожить без розыгрыша, иногда не совсем безобидного.

Доверенным лицом Михаила была сестра Надя, родившаяся через год после брата. Она разделяла увлечения Миши, частенько спорила с ним и первая узнавала новости. Надя и Саша Гдешинский, ученик Киевской консерватории — скрипач, умница, ближайший Мишин друг, узнавали первыми такое, что ни матери, ни гимназическому начальству и не снилось.

— Я литератором стану. Вон сколько понаписано. — Он приоткрыл и тут же захлопнул ящик письменного стола в своем «кабинете», где через всю стенку было выведено изречение Гиппократа: Quod medicamenta non sanant, mors sanat (Что не лечат лекарства, лечит смерть). И еще «Ignis sanat» — огонь лечит.

«Смерть», «огонь» — эти непознанные тайны всегда манили Михаила. Они — главные участники его писательской мистерии.

Надя успела взглянуть на исписанные косым почерком листы:

— Это что, пьесы или водевили?

— Водевили? Глупости, Надька. Все, что я тут для нашего домашнего театрика сочиняю, — бузня, понятно? Надо писать о важном.

— Это…Это… — Надя покосилась на надписи на стене, побоялась задать вопрос о вере, служивший камнем преткновения в спорах с братом. — О смерти написал?

— Все выложил. И о смерти, и о жизни, и о Боге. И о душе, и… И об отце. И все-все…Только это еще надо хорошенько написать. — Он теребил светлые вихры.

— Я-то вижу, что ты тут часами сидишь запершись и в стенку смотришь — творишь. Это другие думают, что Мишка только

смешить горазд. — Надя замялась и просительно подняла на брата голубые вдумчивые глаза в светлых ресницах: — А почитать твои размышления можно?

— Пока только рассказики. И это секрет. — Он достал из ящика и протянул сестре папку. — Вот в июне развяжусь с гимназией и серьезно засяду…

— Ты ж на медицинский хотел поступать? У нас в роду докторов много. И отец так думал. — Надя спрятала папку под фартук. — Хотя писатель — тоже интересно!

— Доктором-то непременно стану. И писать буду. Как Чехов. Знаешь, в жизни так много нелепого. Смешного, глупого, что притворяется серьезным и важным. Даже этот обветшалый Боженька…

— Ой, Миша… не надо. — Надя мелко, украдкой перекрестилась, как делала это мать.

— Ладно. Пока про писательство молчок! Вот сдам выпускной экзамен и объявлю всем. А за апрель напишу что-нибудь важное.

В мае, уведя Сашу Гдешинского в глубь заросшего сиренью сада, Михаил придвинулся к нему вплотную и посмотрел на друга огромными, светящимися, совершенно сумасшедшими глазами:

— Землю есть тебя не прошу. Но поклянись молчать. Сейчас я доверю тебе великую тайну.

— Клянусь скрипичным ключом и своим абсолютным слухом… — Саша постарался не улыбнуться, уж больно любил Михаил таинственность и клятвы.

— Я… — Михаил не решался вымолвить сокровенное, и оно подпирало, уже вертясь на языке.

— Ясно — с литераторством завязано. — Саша запустил пятерни в жесткую шапку вьющихся волос. — Н-да… постой, угадаю: поступил в актеры итальянской оперы! Не дрейфь. Фигаро — твоя роль.

— Брось, не смешно. Моя жизнь решилась. Окончательно решилась.

— Когда же?

— Вчера. Я женюсь… — без тени улыбки сказал Михаил. — Хочешь, поклянусь? Клянусь жизнью своей и вечностью.

— Ух, ты… высоко взял. — Саша сел на поваленное дерево. — Кто ж сия фея? Гимнастка? Вера Холодная? Светка Проценко?

— Ай, какие все глупости! Александр! Завтра я снова увижу ее. Боги! О, боги… — взвыл влюбленный, поднимая руки к летучим белым облачкам. — Она — совершенство! Имя

невероятное, волшебное — Та-тья-на…

2

Май в Киеве — это нечто особенное. Томность ароматов, буйство красок, марево чудных мечтаний, витающих над зеркалом Днепра, как над зеленым паркетом, — ну, будто тебя опустили в гигантскую цветочную корзину и начинается бал цветов!

Шестнадцатилетняя Татьяна Лаппа — дочь действительного статского советника, старшего казначея казенной палаты города Саратова, — худенькая, с пушистой русой косой и большими, удивленными серыми глазами, приехала погостить к тете Соне.

— Мила, весьма мила, — оглядела племянницу Софья Николаевна. — И как такую одну в прогулку по городу пустишь! А знаешь, у меня появилась прекрасная идея: сейчас я познакомлю тебя с прекрасным мальчиком. Твой сверстник, умница необыкновенный, успешно заканчивает гимназию, намерен поступать в университет на медицинское отделение. Старший сын моей подруги Вари Булгаковой. Воспитан, образован! Лучшего гида и не придумаешь. Сейчас они семейством живут на даче, а Михаил после экзаменов ночует у нас. Вот-вот должен явиться. Ага, вот и он! — И крикнула в глубь квартиры: — Миша, дверь открыта! Глашку я отпустила. Иди прямо сюда. У меня сюрприз.

Спустя минуту он стоял в дверях гостиной. Влетел бегом и застыл, увидев гостью. Среднего роста, с косым пробором в светлых волосах и голубыми, округлившимися от удивления глазами. Стоял и таращился, будто столкнулся с чем-то совершенно небывалым — увидел в гостиной медведя или жонглера с факелами.

— Татьяна — моя очаровательная племянница из Саратова, — представила Софья Николаевна девушку.

— Перешла в выпускной курс гимназии.

— Михаил. — Блондин сделал шаг к Тасе и отступил, спрятал за спину руку, машинально потянувшуюся к ритуалу рукоцелования.

Девушка смотрела на него в упор, сдвинув бархатистые брови. Ее девичья фигура в светлом костюме странно сочеталась с взрослой серьезностью лица. Особого лица, в котором все было правильно и именно так, как надо было для впечатления полной неотразимости, сразившей Михаила тут же, с быстротой молнии. Позже он поймет, что в Тане воплотился фамильный тип лица

женщин клана Булгаковых — простые, правильные, четкие черты, без налета кукольной красивости и кокетливого жеманства. Это лицо и прямой, внимательный, странно волнующий взгляд подействовали на впечатлительного гимназиста оглушающе. Что-то щелкнуло внутри, и время изменило ход, словно он попал в иное, насыщенное светом и радостью пространство. Завертелась, запела карусель!

— Миша, будь другом, покажи нашей гостье Киев! Она здесь впервые, — хитро улыбнулась заметившая реакцию парня Софья Николаевна. — Если не заболел, конечно. Что-то лицо в пятнах — не жар ли?

— Я… я… Я здоров! Я все покажу сейчас же, с радостью!..

Ураганный пробег по Киеву сразил Тасю сумбуром самых разных впечатлений. И ощущение было такое, что она совершила путешествие в далекую страну, полную ошеломляющих чудес. Покрытые брусчаткой улицы, электрические трамваи, похожие на движущиеся балконы в ажурных решетках, чудесные особняки — то в виде рыцарского замка, украшенного грифонами, то терема, вылепленного из шоколада. На центральных улицах нарядная толпа, роскошные витрины, море цветов!

Зелень, солнце, блеск!

А самое замечательное заключалось в том, что все это великолепие располагалось на террасах, спускающихся уступами к мощно несущему темные воды Днепру. И стремилось ввысь, туда, где в синеве ясного неба золотом сверкали купола соборов.

Михаил рассказывал Тасе истории обо всем, чего только ни касался взгляд. Он словно торопится околдовать ее своим восторгом, заразить своей радостью.

— Эх, Киев-город! Город чудесный, город прекрасный! Вон там — лавра пылает на горе, а Днепро, неописуемый свет! Травы! Сеном пахнет! Склоны! Долы! — Он нагнулся над парапетом смотровой площадки и вдруг резко обернулся к ней:

— Таня, ты просто не понимаешь, какой сегодня особенный день. Май — это мой месяц. Я родился в мае! Это же совершенно восхитительно! Можешь не сомневаться — именно этим месяцем, а не январем начинается год, начинается жизнь вообще! У нас с тобой начинается!

3

Неделя в Киеве ошеломила Тасю. В первый же вечер гимназист Булгаков едва не прыгнул из-за нее в Днепр. А потом признался в любви — совершенно серьезно, торжественно!

И завертелось, понеслось нечто летучее и головокружительное, как Венский вальс: прогулки в парки, на днепровские пляжи, в оперу! Страшное и величественное впечатление произвела панорама «Голгофа». В круглом павильоне было прохладно и тихо. Тася осмотрелась в полумраке и обмерла — они стояли среди раскаленных песков, перед поднимающейся к предгрозовому небу Голгофой. У горизонта, в прозрачной дымке, виднелись белые стены и башни Иерусалима, впереди, как бы продолжая картину, лежали в настоящем песке остатки бедуинской кибитки, валялись какие-то черепки, разбитые кувшины, под иссохшей пальмой виднелись верблюжьи и ослиные скелеты, на которых сидели вороны и орлы-стервятники.

А вдали, тоже словно в дымке, стояли три креста с распятыми телами — Христа и двух разбойников. Падающий сверху свет окутывал худое окровавленное тело Христа мягким ореолом, приковывая к нему взгляд. С горы спускалась извилистая каменистая дорога, а на ней застыла сгорбленная фигура.

— Иуда! — шепнул Михаил. — Когда я попал сюда первый раз, мне было лет восемь. Отец привел меня и рассказал библейскую историю казни Христа. Я долго жил с этим впечатлением.

— Мне тоже как-то жутко… — тихо промолвила Тася. — Кажется, что казнь настоящая, и мы в самом деле стоим в той, древней толпе.

— Здесь я бы поместил еще Ливия Матвея и прокуратора Иудеи Понтия Пилата… Не спрашивай, потом объясню. — Михаил впал в задумчивость, и когда они вышли на свет летнего дня, на его лице все еще горели отблески зарниц далекой иерусалимской грозы и какой-то важной, целиком завладевшей им мысли.

— Пилат должен быть непременно… Могучий, непобедимый Пилат — он попал в западню, разрешив казнь пророка. И знает уже, что до скончания веков будет нести клеймо убийцы. Такой… такой великолепный и жалкий.

— Я знала о Киевской панораме, но даже не могла представить… что это так… так… Ну, будто я побывала там, у Голгофы…

— На всех действует сильно. Панорама открылась в 1902 году. Живописное полотно расположено по кругу. Размеры громадные — высота 13 метров и длина 94 метра. Его написали три художника для венской выставки 1892 года. Над выделкой бутафории, чучел трудились отличные мастера, потому все и кажется живым. Вена была поражена. Но на выставке тогда случился пожар, и панорама пострадала. Ее реставрировали и

перевезли сюда. Построили специальный круглый деревянный павильон диаметром больше 30 метров. Представь, какая громада, если манеж цирка всегда не больше 13 метров. Народ повалил семьями, а гимназистов водили целыми классами. Я приходил много раз… И каждый раз печаль обрушивается снова, и какие-то мысли крутятся, жужжат, жужжат… — Он посмотрел на нее и только теперь заметил, как тяжело прикрыты глаза веками и побледнели плотно сжатые губы. — Что с тобой?

— Не хотела говорить. Голова болит. У меня так часто бывает. Только одна половина, прямо разламывается, и никакие лекарства не помогают.

— Мигрень!.. Бедная моя.

— Ничего, пройдет. Давай помолчим, ладно?

На следующий вечер Михаил пригласил Тасю в театр, давали самую любимую его оперу — «Фауст».

Вышли из театра молча и, оторвавшись от выходящей из него шумной толпы, свернули в густо заросший липами переулок.

— Мы не туда идем, — заметила Тася. — Большая Житомирская налево.

— Верно. Это потому, что мы направляемся не к Софье Николаевне, а ко мне. Вон там начинается Андреевский спуск, идущий под гору до церкви Николы Чудотворца.

— Тетя Соня будет нас ждать и волноваться.

— Я сказал ей, что если мы не попадем в театр, то поедем ночевать в Бучу — там у нас летний домик. — Михаил смотрел перед собой. — Я солгал. Мне очень хотелось, чтобы ты пришла ко мне домой. Не бойся, все на даче.

В лунной тишине подошли к двухэтажному дому, поднялись на второй этаж.

— Тише… Уже поздно. — Миша открыл ключами двери квартиры. — Вообще-то все привыкли, что из наших окон допоздна грохочет хохот и музыка. Домашний театр. Кто ты у нас будешь? — В центре полутемной гостиной, у закрытого пианино, Михаил обнял Тасю, вглядываясь в ее тревожное лицо.

— Не знаю…

— А я знаю! Знаю, кем ты будешь. — Прямо глядя в ее глаза, Михаил сказал раздельно, с нажимом на каждое слово: — Ты будешь моей женой. И в спектаклях и наяву. Правда, в спектаклях я редко изображаю героев и принцев — ты будешь женой комика! Как жена Мольера.

— Да ты настоящий жадина! — Тася вывернулась из объятий. — Хочешь стать певцом, комиком, врачом, писателем — тебе придется менять профессии каждый месяц.

— Да! И во всех я достигну совершенства. Ведь рядом будешь

ты.

Распахнув портьеру, Михаил показал Тасе небольшую комнату с узкой кроватью и письменным столом.

— Вот тут весь мой мир — мои книги, мой письменный стол под зеленой лампой… Вообще-то здесь еще Николка и Ваня спят. Но их вместе с раскладушками на дачу вывезли.

— И никого нет дома? — Тася вдруг испугалась.

— Никого. Стой здесь и слушай… — Он отступил к окну. — Я, может быть, не стану врачом, а стану певцом или актером… Нет, не то. — Михаил взъерошил светлые прямые пряди и продолжил с упрямым напором: — Вот!

Вот главное: я ни за что не хочу терять тебя. С первой минуты, с первого мгновения я знал, что жить без тебя не смогу. Все равно, сколько пройдет лет, — не смогу.

— Как… Как же теперь?

— Мы будем всегда вдвоем. У нас все будет общее. А сейчас… — Он набрал полную грудь воздуха и выпалил: — Сейчас мы решим главное, как спать на узкой докторской кроватке женатому человеку. — Он лег на кровать и позвал: — Иди сюда!

— Прямо так? — Она взялась за пышный подол театрального наряда.

— Да. Это самая верная и обязательная примерка. — Он лег на бок и протянул руки. — Иди сюда!

Тася прилегла на самый краешек, спиной к нему, и поджала ноги. Тела сближались, размягчаясь, как воск, и вот они сомкнулись — Тасина голова на Мишином плече, и вся она поместилась в выемке его бережливо согнувшегося тела.

— Так мы и родились где-то там, на Большой Медведице.

— И всегда будет так… Только… — Тася повернулась на спину и коснулась его губ. — Только, пожалуйста, пусть у доктора будет кровать пошире…

…Одежда на полу, на спинке кресла белеет крахмальная рубашка в соседстве с Тасиной блузкой. Сама она нага, коса рассыпана русой волной.

Они разомкнули объятия, подставляя легкому ветерку из распахнутого окна влажную кожу.

— Луна огромнейшая! — Тася вскочила, тонкая, голубая, в серебристой гриве разметанных волос. — А знаешь, она бежала за поездом, все время глазела на меня и обещала: «тебя ждет ОН!» Правда, правда!

Тася присела на широкий подоконник, обняв колени руками и подняв лицо к луне.

— Я счастлива. Спасибо тебе, — сказала бледному лику,

стыдливо прячущемуся за прозрачное облако. — А звезды, звезды! Огромные, и миллионы, наверное! Медведицу я вижу! Ковшик — семь ярких звезд. Ты думаешь, она о нас знает?

— Звезды знают все. — Миша сел рядом.

— Все-все? И что будет?

— Все. — Он обнял Тасю, в поцелуй бросились, как в омут. — Они знают, как я тебя люблю. Случилось то, что предначертано. Я знал его с самого начала. Теперь мы муж и жена. У нас будет верная, вечная, настоящая любовь. Звезды смотрят на нас, они не подведу!'.

Тася строго добавила:

— Я думаю, нет, уверена — настоящая любовь может быть только одна.

4

Тася написала письмо домой, рассказав, что познакомилась с интересным молодым человеком, которого, по сути, можно считать ее женихом. Очевидно, родители получили одновременно письмо и от тети Сони с соответствующими комментариями. Незамедлительно пришла телеграмма с распоряжением немедленно вернуться домой столь легкомысленно проявившей себя особе.

Кончался июль, Михаил получил аттестат об окончании гимназии и подал документы на медицинское отделение университета. Все это происходило на дальнем плане, главным в его жизни стала Тася. Телеграмма из Саратова оказала действие внезапно взорвавшейся бомбы. Мир влюбленных — бесконечно радостный и благостный — рушился, открывая устрашающую правду. Пришлось признаться себе, что мать Миши, скорее всего, не одобряет увлечения сына, что родители Таси призывают ее домой, дабы оторвать дочь от пагубного влияния «интересного молодого человека». Но приобретены билеты, и однажды дождливым, словно осенним, днем Тася стояла за открытым окном того же вагона, что привез ее в Киев. На платформе, с перекошенным как от зубной боли лицом, застыл Миша — мокрые вихры, потемневшая от воды синяя фуфайка, отчаяние в посветлевших глазах.

Тася не плакала — положила на стекло ладони, беззвучно проговорила:

— Май кончился.

— Нет. Он будет всегда! — хрипло прокричал Михаил. И долго, пока не кончился дощатый перрон, бежал вслед

двинувшимся вагонам.

Дома Тасю ждал серьезный разговор. Родители были убеждены, что мысли о браке с юношей, едва поступившим в университет, недопустимы, какими бы достоинствами ни обладал «жених». Как всегда в таких случаях, помогала надежда: «время лечит», «время покажет».

Увы, время шло, показывая нарастающее неблагополучие.

Тася кое-как дотягивала последний класс гимназии. Михаил жил в полусне, забыв об университете. Все время он отдавал мечтаниям и сочинению писем в Саратов — это было необходимо, как воздух. Тася обещала приехать на Рождество, он считал дни и, как в детстве, ставил в календаре на прожитых днях крестики. Скорее — жирные черные кресты, яростно вычеркивая эти ненужные дни из своей жизни. Только бы хватило сил дотерпеть! Тася приедет, и больше он ее не отпустит. Мама поймет, мама не станет препятствовать их любви.

Варвара Михайловна Булгакова тяжело переживала случившуюся с сыном беду. Беду — иначе она это назвать не могла. Как бы ни хороша была саратовская девушка, но появилась она в Мишиной жизни совершенно не вовремя, разрушив планы на обучение в университете и надежды на Мишину будущность. Он был похож на помешанного: забросил занятия, не слышал ничего, что говорила ему мать. Попытки объясниться с сыном она оставила после первого же разговора: Михаил поклялся уйти из дома, если мать еще раз заговорит о Тасе недоброжелательно, то есть не как о будущей невестке.

За две недели до Рождества Варвара Михайловна с детьми выехала в Орел. Миша остался в Киеве. Он выходил из дома только для того, что бы отправить очередное письмо в Саратов и, наверное, ничего бы не ел, если бы не Саша Гдешинский — верный друг, талантливый скрипач. То, что происходило с Михаилом после встречи с Тасей, обескураживало Сашу. Он тщетно пытался оживить в друге пыл былой жизнерадостности, сыпал шутками и анекдотами. Михаил оживлялся лишь тогда, когда речь заходила о Тасе. Теперь он ждал ее к Рождеству, и планы на этот семейный праздник, обсуждение тактики сближения Таси с семьей занимали все его мысли. Осунувшийся, с заострившимся носом, отросшими светлыми вихрами, с впалыми щеками, покрывшимися рыжеватой щетиной, он был похож на тяжело больного. Семь месяцев без Таси, двести шестнадцать дней, похороненных под крестами забвения, измучили его. Оставалась неделя.

Зайдя проведать друга, Саша Гдешинский застал странную картину.

Михаил сидел за письменным столом, на белой тряпице перед ним лежал разобранный браунинг. Отцовское оружие было извлечено из потайного ящика между книжными полками. Рядом на столе лежал раскрытый том энциклопедии оружия с соответствующей картинкой.

— Новое увлечение? Бабочек забросили. Коллекционируем оружие? — присвистнул Саша.

— Стреляюсь, — коротко сообщил Михаил. Саша хмыкнул и запнулся — расхохотаться ли шутке? Но упорная злая решимость в тоне друга насторожила его.

— Погоди, что стряслось? — Саша сел рядом, обрушив стопку томов энциклопедии, стоявшую кое-как прямо на полу.

— Тася… — Миша повернул лицо, и Саша едва не съехидничал по привычке, что с такой физиономией провинциальные актеры играют сумасшествие Гамлета. Страшное лицо. С последним отчаянием во взоре.

— Тася…выходит замуж? — ужаснулся своей догадке Саша.

— Она не приедет на Рождество.

— Фу! — Саша мотнул курчавой копной, отгоняя страх. — Разумеется, тяжелая утрата. Но уверен, ваша великая любовь дотерпит до летних каникул! — Он с облегчением перевел дух и пустился в привычное ерничество: — Сам посуди, куда в такой холод и на кладбище друзей тянуть? Бр-р!

— Уйди, ты смешон. — Михаил щелкнул затвором собранного браунинга.

— Ладно, черт с тобой, стреляйся. Но последнее желание — это святое! — Саша решительно подсел к письменному столу, вытащил листок из пачки письменной бумаги, обмакнул перо. — Значит, так: «Татьяне Николаевне Лаппа. Саратов. Молния. Срочно приезжайте Киев. Михаил стреляется». — Не дав Михаилу перехватить листок, Саша поднял его над головой: — Она имеет право решить. Или ты хочешь, чтобы бедняжка наложила на себя руки вслед за тобой? Шекспир, тудыть вашу мать!

В Саратове получили телеграмму с несколько иным текстом: «Телеграфируйте обманом приезд Таси. Миша стреляется». Тася протянула дрожащей рукой телеграмму отцу. Тот криво улыбнулся, пробежав глазами синий бланк «молнии»: — Глупые игры затеяла ты со своим «женихом». — Сложил листок и отправил его письмом в Киев сестре Соне с просьбой передать оную «шутку» подруге Варваре Булгаковой — матери истеричного мальчишки.

Тася заперлась в своей комнате. Она торопилась написать Мише ответную телеграмму. Телеграмма получалось длиннющая, как письмо. В ней были и клятвы, и заверения, что никто и ничто

в мире не может разлучить их, что жизнь впереди, и она будет чудесна, что такая любовь — единственная и вечная. И еще много таких слов, от которых сердце Михаила возликовало. Как у человека, едва вырвавшегося из когтей смерти, жажда жизни вспыхнула с новой силой. С телеграммой Гаси он не расставался и даже нашел в себе силы дождаться весны. Весны 1909 года.

5

В мае 1909 года Михаил отправил документы для повторного обучения на первом курсе медицинского отделения Киевского университета. Тася же, едва завершив выпускной год, устремилась в Киев. К окончанию гимназии мать подарила ей браслетку, состоящую из золотых колечек — мягкую, удобно сидящую на руке. На пластинке у замка покачивались выгравированные инициалы «ТН» — на счастье.

Снова май. То же цветение, те же сады. Только любовь другая — она стала еще сильней и свободней. Влюбленные не собирались больше ничего скрывать. Михаил отвез Тасю на дачу в Бучу, где летом проживало все семейство, и они остались там. Тасе выделили комнату, в которую никто без стука не входил, но разговора о свадьбе старались не затевать.

Молодежь приняла Тасю всей душой, понимая, каким важным человеком является эта девушка для Михаила — авторитета и любимчика всей семьи.

Она и в самом деле оказалась мила. Незаносчивая, скромная, воспитанная. Вот только не было в Тасе той смешливой раскрепощенности, которой отличалось булгаковское семейство.

И все думали — придет зима, разлука охладит разбушевавшуюся страсть. Но опять разлука лишь подогрела чувства. Михаил ни о чем и думать не мог, кроме встречи. Он устроился проводником на дальние поезда, чтобы хоть раз в месяц видеть Тасю.

Летом 1910 года Тася приехала в Киев, и Михаил ожил, как заколдованный принц. Жизнь приобрела блеск, полноту, интерес.

Они вновь зачастили на симфонические концерты на открытой эстраде либо посещали оперу. Днем же будущий доктор вовсе не был паинькой. На набережной возле Андреевского спуска собирался «клуб велосипедистов». И здесь Михаил задавал тон. Под восхищенным взглядом Таси он ухитрялся выделывать на велосипеде немыслимые трюки, терпеливо обучал им молодняк. Она все больше восхищалась им, влюблялась сильнее и сильнее, теперь уже прошлогоднее чувство казалось ей пустяковым

девичьим увлечением.

В то лето в Буче напропалую веселились. Одиннадцатилетний Николка играл на гитаре, младший, девятилетний Ваня, — на балалайке, все замечательно пели и горели страстью к лицедейству. Игры в основном придумывал Миша и сам всегда исполнял самые смешные роли в сочиненных сценках.

…Шесть вечера, солнце село за потемневшие ели, к семи ожидались гости — молодежь с соседних дач и киевские друзья. Заканчивались последние приготовления. Публике должна была быть представлена сочиненная Мишей пьеса о забавном путешествии неуклюжего родственника. Роли быстро разобрали. Не могли уговорить «актерствовать» лишь Тасю. Саша Гдешинский, занятый в представлении, остро чувствовал, как трудно вписаться милой, простодушной девушке из скучноватой чиновничьей семьи в шумную, задорную компанию Булгаковых.

И теперь он видел ее растерянность перед необходимостью принимать участие в играх, некоторую скованность, зажатость. Они расставляли стулья перед верандой, изображавшей сцену. Тася, чуть загоревшая и окрепшая, в свободном ситцевом сарафане с россыпью незабудок по желтому полю, выглядела бы очень мило, если бы не волнение. Она отказалась от участия в сценках, но боялась, что Мише это не понравится. Поверх белой рубашки Саши были нарисованы лацканы фрака, а сзади болтались выкроенные из черного сатина длинные полы. Непомерно большая «бабочка» из бархатной бумаги постоянно сбивалась набок. Александр подсел к Тасе, занявшей табурет с краю второго ряда.

— У меня выход во второй картине. Пока хотел бы поделиться кое-какими наблюдениями с вами, Татьяна Николаевна, — склонил он к ее щеке кудрявую голову. — Посмотрите на этих «актеров»! Да они же просто дурачатся! Детский сад какой-то! — фыркнул он над выходом Нади. С толщинками на груди и животе под деревенским сборчатым сарафаном, она разыгрывала туповатую бабу, попавшую в одно купе с интеллигентным, щепетильным до крайности господином, роль которого с комичной серьезностью исполнял Миша. Он же был и контролером, и вагонным воришкой, с наслаждением перевоплощаясь в разных персонажей. — Мишель хорош! Остальные… не выдерживают критики. Если хотите знать мое мнение, вы правильно сделали, что отказались изображать даму с младенцем в этом балагане, — продолжил Гдешинский без тени улыбки.

— Вы издеваетесь надо мной, Саша, это нехорошо. У них чудесно все получается. И сестры Миши такие смелые. А я просто-

напросто трусиха. — Тася вскочила и быстро зашагала в тень сада. Там села на заветную скамейку среди кустов шиповника и, чтобы не разреветься, начала вслух читать стихи, которые, она знала, любил Миша.

> «Выхожу один я на дорогу, под луной кремнистый путь блестит.
> Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит…»

— И ведь чудесно у вас получается! Сара Бернар! — на дорожке появился Саша. — Я отыграл свой номер и спешу завершить наставительную беседу. Мой Паганини сразил всех. Можно присесть?

— Садитесь. И, пожалуйста, не смейтесь надо мной. — Тася отодвинулась на край скамейки, всхлипнула. — Все это… Все, что здесь происходит, — чудесно. Только мне немного непривычно. Я ведь и в гимназии училась кое-как. От волнения на уроках даже заикалась. Часто болела, уставала, много пропускала. Но каток! — Она неожиданно озарилась радостью. — Каток меня могла заставить пропустить только мигрень!

— Болезнь гениев!

— Ах, какое там! Откуда гении? Жили мы скромно и скучно. У меня ведь сестра и четыре брата. Дрались все время, орали. Правда, отец играл в благотворительных спектаклях. Но дома всегда строго держался. Только службой и коврами увлекается — вся квартира в коврах. А нами, детьми… Ну, если выговор сделать, за уши потаскать или в угол поставить…

— Тася, да у вас было кошмарное детство! — преувеличенно ужаснулся Александр.

— Нет, нормальное. Мама учительница, добрая…Но развлечений особых не было, это правда. Дети, прислуга — все требовало средств…Тут, у Булгаковых, совсем другое дело…

Саша со вздохом глянул на Тасю:

— Именно — другое! И вам не страшно вблизи этакого гиганта? С колыбели рос вундеркиндом. Засыпал под скрипку отца и маменькино музицирование — Шопена в пеленках предпочитал! Едва говорить начал — сочинял, пел, плясал. Ах, милая детка, ему над классикой всплакнуть — это уж непременно. Слушал «Фауста» 41 раз! Не обучавшись специально, может сыграть Вагнера! А его велотрюки, футбол… Я молчу… Вам придется быть Кшесинской, Патти и немного Львом Толстым. Это непременно. — Гдешинский зашептал: — Дабы быть причастной к сокровенному, обсуждать Мишины литературные

замыслы.

— Литературные? Но ведь он хочет стать хорошим врачом! Миша считает, что можно допустить небрежность в любой профессии, но не во врачебной. А пишет он шутя.

— О, значит, только доктором! Это еще хуже! Вам придется держать ногу больного во время ампутации.

— Фу, что вы такое говорите? Миша хочет стать детским врачом. Простите! — Тася шлепнула комара па щеке Гдешинского.

Тот сделал вид, что сражен наповал, и тут, напролом через кусты, сдирая с волос паутину, к ним вышел Михаил.

— Черт! Никак от грима не ототрусь, слепни и мухи зажрут. — Он отчаянно потер губу, где оставались следы от нарисованных усиков. — Чего сидим, от славы прячемся?

Михаил, все еще возбужденный представлением, искрился весельем. Сорвав с шеи Александра гигантскую «бабочку», спрятал ее в карман:

— Для будущего музея маэстро. Нет, ты, старик, гений! Твой бродячий Паганини — шедевр, особенно, когда в скрипке одна струна. А ты, Тася, зря ушла. Зря!

— Голова разболелась, Мишенька.

— Что ж вы молчите, милая? — Старший Булгаков изобразил доктора. — Вам повезло — вы руках первейшего специалиста по голове и прочим дамским прелестям. У меня ж как раз волшебное лекарство имеется!

Тася бросилась ему на шею, и Александр стал свидетелем ошеломляющего поцелуя.

Родители Таси решили, что после окончания гимназии дочь должна поработать в Саратове. Тася устроилась классной дамой в ремесленное училище. Разлука тяжело переживалась обоими, не выручали даже письма. Михаил вновь забросил занятия в университете.

Мрачный, замкнутый, он был погружен в чтение и собственные мысли. Встреча с Тасей — единственная точка, к которой устремлялось все его существо. Зима пролетела, словно во сне. А на горизонте полыхал фейерверками — полный восторга соединения — законный брак!

Но Варвара Михайловна имела свое мнение. Она всегда боялась, что Михаил увлечется оперной актрис-кой или, как в раннем детстве, попадет под очарование цирковой наездницы. Она хотела бы иметь в невестках серьезную девушку. Дочь действительного статского советника, милая и скромная Тася — вроде то, что надо. Но! Господи, как же она хорошо знает своего сына! Миша — натура артистическая, экспансивная, его

влюбленность требует постоянного восхищения подругой, вдохновения от ее присутствия. Возлюбленная должна быть под стать его фантазиям, его энергии, талантам. Да, Тася старается стать неразрывной половинкой любимого, жадно впитывает его мнения, вкусы, привычки. У нее даже появилось чувство юмора. Но разве она та яркая, оригинальная умница, вдохновляющая и восхищающая всех вокруг своими талантами, что способна удержать Михаила? Увы, она не Муза. И главное — он еще слишком молод, чтобы понять это.

Весной 1912 года Татьяна Николаевна Лаппа подала документы для поступления на Высшие женские курсы на отделение киевских курсов. Уловка удалась — теперь она студентка и разлучаться не надо! Тася сняла комнату с отдельным выходом на Рейтерской улице, и они зажили почти по-семейному.

Михаил, окрыленный присутствием возлюбленной, серьезно взялся за учебу, спеша наверстать упущенное за два года. Его отвращали от занятий лишь лекции в анатомическом театре, но лабораторные исследования с помощью микроскопа вызывали горячий интерес. Из Саратова поступало ежемесячное содержание Тасе в размере 50 рублей — деньги по тем временам немалые.

Но никто из них двоих не чах над учебниками. Тасю занятия на Женских курсах интересовали лишь как формальный предлог не покидать Киев. Миша, обладавший уникальной памятью, схватывал материал быстро и мог позволить себе роскошь развлечений.

Когда поляк Голомбек открыл бильярдный зал с восемью столами, Булгаков увлекся игрой. Он с друзьями проводил у Голомбека все свободное время и отдыхал после партий в находившейся рядом пивной. Отсидев занятия на курсах, Тася спешила в бильярдную, дабы следить за боями Михаила.

Зимой они часто ходили в Купеческий сад — покататься на американских горках. Бешеная езда на крошечных санках по ледяному желобу, обрывы и взлеты, замирание под ложечкой и ощущение крепко прильнувшего тела Таси, чувство полета и полной радости бытия навсегда запомнились Булгакову. Не забыла горки и Тася.

Пролетев по сумасшедшим виражам, они направлялись «пировать». В кафе «Пингвин» Тася награждалась порцией любимого «гарнированного» мороженого. На огромном блюде вокруг сливочного холма лежали ломтики фруктов и ягоды.

Михаил поддел на ложечку янтарный ломтик и поднес к губам Таси. Но губы не открылись. Сморщившись, она выскочила из-за стола и устремилась в дамскую комнату.

Вернулась бледная и виноватая. Михаил ничего не спрашивал, он давно понял, в чем дело, но боялся признаться в случившемся даже самому себе.

— Миша… Мишенька… — лепетала она побелевшими губами, — я не знаю… все время собираюсь сказать, но не знаю как…

— Что-то случилось? Тебя стошнило? Жара нет? — Он прижал ладонь к ее лбу. — Может, отравилась чем-то? Вчера ела на улице эти поганые пирожки! Говорил же тебе!

— Я не отравилась, это совсем другое… — Тася разрыдалась.

Она была беременна. Оба совершенно не ожидали этого. В полноте их бытия не предусматривался некто третий, а мысли о продолжении рода были далеки, как и мечты о солидном доме, путешествиях — о некой иной взрослой реальности. Кроме того, Тася не представляла, как можно рожать невенчанными, и вообще она так боялась терять эту жизнь, такую, как она теперь складывалась. Вдвоем, сердце к сердцу, душа к душе. И зачем, зачем эта неожиданная проблема?

Михаил нашел самого дорогого в городе гинеколога. Осмотрев пациентку, доктор заверил, что у нее здоровый организм и опасаться плохих последствий можно лишь в крайнем случае. Только Миша, как будущий врач, понимал, что риск лишиться возможности иметь детей после первого аборта довольно велик. Но он не стал пугать Тасю, отправившуюся на операцию с героической стойкостью. Все прошло благополучно. Гроза миновала. И Варваре Михайловне теперь не стыдно заикаться о свадьбе — не с животом идти под венец.

…Тася лежала бледненькая и все еще с отвращением вспоминала тот ломтик ананаса с мороженым, что поднес к ее губам Миша.

— Что-то болит? — Михаил пристально вгляделся в ее лицо.

— Просто немного грустно.

— Э, милая моя, да тебе надо взбодриться. Смотри. — Миша показал пакетик с белый порошком. — Это кокаин. В медицине используется как обезболивающий препарат. Кроме того, говорят, поднимает тонус. Его вдыхают через трубочку, сделав вот такую дорожку. У нас на курсе все пробовали. Врач должен на себе испытать лекарство. Ну, я рискую! — Он разделил порошек на четыре дорожки и вдохнул одну из них, потом другую и передал стеклышко с оставшимся порошком Тасе. Она повторила операцию…

Ночью Тасю сильно рвало, утром она сказала:

— Пожалуйста, очень тебя прошу, не пробуй больше эту мерзость. Мне было так гадко. И вообще, мы же знаем, какая

участь ждет кокаинистов. Это опасно, Миша.

— Один раз — не считается. Медицинский опыт — и все! А я сразу уснул, видел чудесные сны. Но совершенно не испытываю желания повторить опыт. — Он сел на кровать и поцеловал Тасину руку. — Прости, радость моя. Прости и забудь. У нас будет много детей, а вот кокаина — никогда!

Он не рассказал Тасе, какой ужас испытал на рассвете, когда она, измученная, наконец, уснула. Михаил вскочил в холодном поту, разрывая на груди рубашку. Огромный скользкий змий с огненными глазами обвил его жесткими кольцами, не давая вдохнуть. Свистел и шипел, стискивая шею… «Наркотическая галлюцинация… — понял он, с трудом освобождаясь от липкого страха. — Больше — никогда!»

В апреле молодые решили повенчаться. Если родители будут против, то без их благословения. Варвара Михайловна, исхудавшая, измученная сомнениями, не могла помешать сыну. «Безумная любовь до гроба — ошибка наивной молодости, — горько думала она. — И ничего изменить нельзя».

Родные прислали Тасе 100 рублей на свадебный туалет, но она наотрез отказалась и от фаты и от подвенечного платья. Деньги были незамедлительно потрачены на ужин с друзьями в модном ресторане.

Прибыв в Киев накануне венчания, мать Таси Евгения Викторовна осмотрела гардероб дочери и пришла в ужас. Где же свадебное платье? Спешно была приобретена нарядная блузка и белые туфли.

Но разве таким должно было быть это событие?

Конечно же в отношении свадебной церемонии тон задавал Миша. Во-первых, он не хотел устраивать празднество по поводу столь вымученной свадьбы, во-вторых, учитывал скромные средства своего семейства и, наконец, испытывал отвращение к показухе свадебных церемоний. Молодым преподнесли в качестве благословения образа Божьей Матери, заказали под руководством Варвары Михайловны именные обручальные кольца в лучшей ювелирной мастерской города. Перед свадьбой оба постились, причащались и исповедовались, старательно соблюдая требования церковного ритуала и пожелания Варвары Михайловны.

Венчание состоялось в церкви Николая Чудотворца 26 апреля 1913 года в присутствии родных жениха и невесты и самых близких друзей — Богдановых, Гдешинских. Варвара Михайловна все же разболелась — год нервотрепки истощил ее силы. Она мужественно поднялась с постели, чтобы проводить молодых к венцу. А в церкви присутствовать не смогла, да и к лучшему:

Миша и Тася под венцом хохотали до колик. Общая торжественность и напряжение службы заразили Михаила смешинкой. Глянув на него — с прилизанными волосами и свечой в руке, давящегося едва сдерживаемым смехом, Тася удержаться не смогла — прыснула, зажав рот ладонью. И пошло! Чем сильнее старались брачующиеся сохранить подобающие моменту вдохновенные мины, тем больше одолевал смех.

Садясь после церемонии в специально нанятую карету, Михаил шепнул:

— Жена моя, ты заметила — опять май!

— Почти май. Пять дней недотянули, муж мой.

— Ерунда! Наш май будет всегда. — И он, завернув крахмальный манжет, показал на Тасину браслетку. — Талисман не подведет!

С тех пор в самые ответственные моменты Михаил надевал золотую Тасину браслетку с выгравированными на брелочке у замка буквами «ТН».

На лето молодые переехали в Бучу, а с сентября поселились у Ивана Павловича Воскресенского — врача, друга семьи, у которого как раз оказалась свободная комната, причем — с отдельным входом.

Став законным мужем Таси, Миша успокоился и не пропускал ни одного занятия. Каждый день ходил в новую общественную библиотеку на Крещатике у Купеческого сада, штудировал толстые медицинские фолианты. Тася сидела рядом, зачитываясь Гоголем, Салтыковым-Щедриным, Мопассаном. Дома ночами Михаил часто писал что-то при свече.

— Тебе это не интересно — слишком страшное, — отвечал он на ее расспросы и прятал листки. Тася видела надпись в начале первого листка, видимо, название. И вправду страшное — «Огненный змий».

28 июля 1914 года на солнечную площадь Боснийского городка Сараево выехал открытый черный паккард. Наследник Австро-Венгерского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд с супругой совершали дружественный визит. Из-под копыт лошадей взмывали в ясное небо стаи голубей, толпа граждан кричала «Ура!», размахивая букетиками цветов. Выстрел прозвучал почти неслышно. Кровью залило бело-золотой мундир убитого эрцгерцога. Австрия предъявила ультиматум Сербии, Россия — Германии, а вместе с ней Англия и Франция. События разворачивались с молниеносной быстротой, к концу августа в войну было втянуто восемь государств, а к концу года к ним присоединились Япония и Османская империя (Турция). «Так начинался не календарный, а настоящий двадцатый век», —

писала Ахматова.

Тьма египетская

1

Михаил торжественно протянул жене полученный документ.

— «Диплом об утверждении М.А. Булгакова в степени лекаря с отличием со всеми правами и преимуществами, законами Российской Империи сей степени присвоенными», — торжественно прочла Тася. — Ой, мамочки! Серьезно-то как! Лекарь!

— Причем по детским болезням! Корь, свинка. Животики, микстурки!

Увы, в детскую клинику Михаилу так и не удалось попасть. Война диктовала иные требования. Выпускники медицинского отделения университета получили звание ратников ополчения второго разряда. Это означало, что начинающего специалиста необходимо использовать не на фронте, а в тылу, в земских больницах, откуда опытные врачи были отправлены в военно-полевые госпитали. Практика начиналась с сентября. На летние месяцы Михаил записался добровольцем в Красный Крест, он торопился быть полезным на фронте. Не слушая никаких возражений, Тася отправилась с мужем.

Добровольца Булгакова определили в Каменец-Подольский госпиталь, находившийся недалеко от передовой. Когда госпиталь переехал в Черновцы, поближе к самой линии фронта, раненые пошли потоком. Косяком шли ампутации. Решительный Михаил мгновенно переквалифицировался в хирурга. В «Записках юного врача» в рассказе «Полотенце с петухами» Булгаков опишет состояние начинающего врача, впервые ампутировавшего ногу едва живой девушке.

На самом деле первую ампутацию детский врач Булгаков произвел во фронтовом госпитале. Помогала ему Тася. Собрав все свое мужество, она двумя руками держала гангренозную ногу молодого парня, вытянувшегося на операционном столе. Мелкозубой ослепительной пилой Миша пилил круглую кость. Теряя сознание от вида кровавой раны с гроздями торзионных пинцетов, зажимавших пересеченные сосуды, от жуткого запаха гниющей плоти, она смотрела в окно, до половины забеленное краской. Июньское солнце угасало в листве отцветающей яблони, сквозящее между ветвей спокойное небо низко рассекали ласточки… «Пойдет дождь и смоет все… все. Будет как прежде —

беспечный, нарядный, гуляющий Киев… И мы двое… А это — сон, дурной сон…» — заговаривала она себя.

— Крепче, крепче держи, черт! — крикнул Михаил.

Тася увидела его меловое, усеянное бисерным потом лицо и глаза, полные злого ожесточения. Дохнула нашатыря и со всех сил вцепилась в чужую, похолодевшую плоть.

… Осенью 1916 года М.А. Булгаков был вызван в Москву и оттуда послан в распоряжение смоленского губернатора. Из Смоленска получил направление в Никольскую земскую больницу, расположенную в степи, в тридцати с лишним километрах от уездного города Сычовка. Не детским врачом — общим специалистом, одним на весь уезд. А значит — и хирургом, и инфекционистом, и дантистом, и… что перечислять… полный кошмар. Двадцать пять лет и почти нулевой опыт.

Два года работы Булгакова земским врачом он опишет в блистательных **«Записках юного врача».** Текст почти целиком документальный. С одним важным исключением — доктор, приехавший после университета в захолустную больницу, пугающе одинок. Одинок не только как врач, вынужденный стать универсальным специалистом, но и как личность, как живой человек, пропадающий в убийственной стуже «тьмы египетской» — темной и нищей российской глубинки. Одиночество подчеркивает трагизм и остроту ситуаций. Один в поле воин — молодой доктор отчаянно сражается за человеческие жизни. В реальности рядом с Михаилом все это время была Тася. Не сожитель и наблюдатель — а помощник и спаситель.

2

Пропадая часами на приеме больных, делая самые отчаянные операции, Булгаков быстро набирался опыта. Слава молодого доктора росла. Уже в ноябре по накатанному санному пути к нему стали ездить на прием сто человек крестьян в день. Михаил едва успевал забежать домой, чтобы перехватить что-то, приготовленное Тасей. Частенько он и вовсе не успевал пообедать, принимая по 8–9 часов кряду. Кроме того, при больнице имелось стационарное отделение на тридцать человек, и часто приходилось оперировать. Уставал нечеловечески, это да. Возвращаясь из больницы в девять вечера, не хотел ни есть, ни пить. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать его ночью на роды. Но каждую неделю за доктором приезжали ночью по нескольку раз.

Темная влажность появилась у него в глазах, а над переносицей легла вертикальная складка. Ночью он видел в зыбком тумане неудачные операции, обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови, и просыпался липкий и прохладный, несмотря на жаркую печку-голландку.

— Все вьюги, да вьюги… Заносит меня! И все время один, один, — бормотал в полусне.

— Помощь пришлют, ты ж написал в Сычовку, что тут нужен второй врач. Потерпи. — Тася старалась придать голосу уверенность, хотя сама уже не верила, что жизнь в деревне образуется к лучшему.

Врача на подмогу Булгакову не прислали, решили — и так хорошо справляется. А беда была рядом.

Привезли девочку с дифтеритом. Михаил начал делать трахеотомию, фельдшеру вдруг сделалось дурно, он упал, не выпуская крючок, оттягивавший край раны. Инструмент перехватила сестра. Михаил, впервые делавший трахеотомию, выстоял, не отступил. Отсосал из горла больной дифтеритные пленки, спас девочку…

Вечером сказал Тасе:

— Мне, кажется, пленка в рот попала. Придется делать прививку.

— Тяжело будет. Лицо распухнет, зуд начнется страшный в руках и ногах — я-то знаю.

— Ерунда, ты перетерпела, а я и подавно.

После прививки все тело Михаила покрылось сыпью, страшные боли скручивали ноги. Он метался по кровати, скрипя зубами, наконец, простонал:

— Не могу терпеть больше. Зови Степаниду. Пусть морфию впрыснет.

После укола сразу успокоился и заснул. А вскоре, когда появилось какое-то новое недомогание — снова позвал Степаниду.

— Миш, не надо больше колоться, привыкнешь же, заболеешь, — робко заметила Тася после очередного укола.

— Дура! Ничего не привыкну! Я же совсем разбитый был, сломленный. Теперь состояние прекрасное, замечательное! Хочется работать, творить!

Он и в самом деле садился писать и работал в упоении. Что писал — жене ни слова.

— Миш, а что ты там сочиняешь? — решилась пробить стену молчания Тася.

— Тебе не понять. Литература — дело тонкое, — отмахнулся он.

— Что ж, я книжек не читала?

— Ну, уж если очень хочешь… Только это вообще — бред сумасшедшего. Ты после этого спать не будешь, кошмары замучают, — объяснил он, и в тоне мужа Тасе послышалась насмешка над ее необразованностью, бабьей глупостью. Мол, не твоего ума дела — варишь суп, и вари.

Период между впрыскиваниями становился все короче, доза больше.

Он кололся уже два раза в сутки, а убыль морфия в больничной аптеке пополнил, съездив в уезд. Мучительное ожидание нового впрыскивания все чаще приводило Михаила в бешенство. Жестокие ссоры с Тасей сменялись периодами зыбкого затишья.

Что бы не настораживать Степаниду, истратившую на уколы доктору чуть не весь больничный запас морфия, Тася стала делать стерильные растворы сама. Набирая шприц, проклинала себя за то, что опять не устояла, не смогла противостоять мужу. И каждый раз решала: «Этот укол последний. Пусть хоть убьет!»

— Я не буду больше приготовлять раствор. — Тася отвернулась к стене, спрятала голову под одеяло.

— Глупости, Тасенька. Что я, маленький, — что ли? Брошу, когда захочу. Ну, не спи же, прошу тебя! — тщетно пытался он повернуть ее к себе.

— Не буду! Ты погибнешь. — Она села, обхватив колени руками. — Никогда больше не буду.

— Да что я, морфинист, что ли?

— Да. Ты становишься морфинистом!

— Итак, ты не станешь?

— Нет.

— Хорошо. Иди и принеси шприц. — Он вытащил из-под подушки наган и навел его на Тасю. — Убью и не пожалею, — сказал тихо, внятно.

— Убивай! Мне жить больше незачем. Спасибо скажу! Убей меня, Мишенька! — Тася рванула на груди ночную сорочку, шагнула к нему, содрогаясь в истерике: — Убей же, трус!

Он отшвырнул браунинг, вскочил, ринулся в кабинет. Набрал шприц, чуть не разбил его, отшвырнул и сам задрожал, всхлипывая страшно, судорожно. Тихо подошла Тася, взяла шприц, ампулы и, заливаясь слезами, приготовила инъекцию. Михаил обнажил худое, в отметинах уколов, предплечье.

— Себя проклинаю, что поддалась твоим уговорам. Плохо все это кончится. — Она с отчаянием вонзила иглу под бледную кожу. Михаил обмяк, вздохнул с облегчением.

— Умница, умница… верная жена моя. Друг мой, друг.

Справлюсь, когда в самом деле почувствую опасность.

Он закрыл глаза, через некоторое время тихо сказал: — Слыхала, говорят, Николая Второго свергли…

3

Революцию 1917 года в Никольском проморгали. Вроде были какие-то слухи о бунте в городах, но мужики ничего не поняли. В сущности, все оставалось по-прежнему. Лишь раз, съездив в Москву на консультацию к дядьке-врачу, Михаил видел поразившие его картины бунта: зверств, разрухи, нищеты. Но где она — Москва? Где бунг? Здесь своя жизнь, вековая, беспросветная тьма.

— Миш, — с надеждой посмотрела на него Тася, — у меня уже три месяца, поди. Что будем делать-то?

— Как — что? — Он пожал плечами. — Разве сама не понимаешь? Какой ребенок может получиться у морфиниста?

Тяжело больным он тогда еще не был, но издевка, прозвучавшая в его вопросе, отрезвила Тасю. Надежды нет и не будет. Просто надо понять, что есть жизнь ушедшая — в ней бодрая, здоровая молодость, благополучие, любовь, мечты и планы… И есть то, что есть — глушь, полная неопределенность и больной муж. А от любви не осталось и капелюшечки.

Спокойно и отстраненно, как надоевшей больной, Михаил объявил Тасе, что рано утром сделает операцию сам.

В тот момент никто из них двоих не знал, что решалась судьба обоих: у Булгакова никогда не будет детей. Останется бездетной Тася и вторая жена писателя. У Елены Николаевны Булгаковой — третьей жены, будут расти сыновья от первого брака с Шиловским. Но родить от второго мужа она не могла — тяжело болевший Булгаков уже был не способен иметь детей.

Чернота сгущалась. Доза морфия увеличилась. Вид Михаила был ужасен: бледен восковой бледностью, худ до истощения. На предплечьях и бедрах непрекращающиеся нарывы. Они появились на месте тех уколов, которые он делал сам: в неудержимой поспешности не следил за стерильностью раствора, не кипятил шприц.

Позже, в рассказе «Морфий» Булгаков подробно проанализирует этап за этапом весь кошмар овладевшей им болезни. Сделает это якобы от лица другого, покончившего самоубийством, земского врача — доктора Бомгарда. Бомгард одинок, его единственный друг — медсестра Анна пытается предотвратить катастрофу, но не может устоять перед мучениями

любимого ею человека. Легко догадаться, что речь идет о Тасе. Но в историю вымышленного одинокого Бомгарда не вошли жестокие эпизоды семейной трагедии — история гибели любви и надежд.

…И не было выхода из этого тупика. В больнице стали догадываться о болезни доктора. Перевод Булгакова в больницу уездного города Вязьмы оказался очень кстати.

Казалось бы, произошел спасительный для него перелом: вполне приличная больница, врачи-специалисты, электричество, чистота. Только душевного подъема от прибытия в Вязьму хватило ненадолго. Михаил изо всех сил старался сократить дозы морфия, но неизбежно срывался, выплескивая на Тасю вспыхивающее от нехватки наркотика бешенство.

Они жили при больнице, расположившись в двух комнатах — столовой и спальне.

Едва проснувшись, Тася слышала голос мужа, с трудом сдерживающего истерику:

— Морфий кончился. Иди, ищи аптеку.

— Так ведь уже нигде не дают. Меня запомнили, — пыталась сопротивляться Тася.

— Печать есть — отказать не могут.

И Тася бродила по окраинам городка в поисках маленьких аптек, в которых она еще не примелькалась с постоянным заказом большой дозы морфия. Зачастую Михаил, измученный нетерпением, плелся за ней в тусклой ноябрьской мути. Он ждал ее на улице у дверей и жадно накидывался на добычу. Страшный, жалкий, дрожащий, как уличный попрошайка — лицо исхудавшее до крайности, волосы слежались липкими прядями, в ввалившихся глазах искра безумия.

— Скорее, скорее поворачивайся! — торопил он ее, обнажая бедро. Колоть Тасе приходилось где попало — в подворотне, в грязном углу за сараями. Который раз она принимала решение: уехать, бросить все, но, ощутив руку Михаила, цепляющуюся за рукав ее пальто, решение отменяла. Вела нетвердо ступающего мужа домой, а он бормотал что-то невнятное про Фауста, рыжую Елену, про стальное горло и звездную сыпь. Не любовь уже, жалость заставляла ее остаться. Понимала — пропадет вскорости никому не нужный морфинист.

Вечерами, когда наркотик разливался по жилам, Булгаков много писал. О чем? Тася уже не спрашивала.

Он был так похож на загнанного, попавшего в ловушку зверя, что у Таси от жалости сжалось сердце.

— Так больше нельзя, пойми же, Мишенька!.. Посмотри на свои руки, посмотри!

Позже, в рассказе «Морфий», якобы о медсестре Анне, Булгаков напишет: «Она была желта, бледна, глаза потухли. Доконал я ее. Доконал. Да, на моей совести большой грех».

А жене, грызя ногти, сверкая исподлобья опасливым взглядом, Булгаков скажет:

— За тебя меня Бог покарает! Эх, Таська!

Отставку по болезни все же Булгакову дали. В феврале супруги уехали в Киев.

На Андреевском спуске

1

Окна дома № 13 на Андреевском спуске светились знакомым мандариновым светом, и выпархивало в снежную канитель веселое бренчание пианино.

— Не может быть… — Прислонясь к металлической колонне, поддерживающей балкон, Михаил поднял лицо, впитывая этот незабвенный свет, эти звуки, означавшие жизнь.

С декабря 1918 года по август 1919 года Михаил и Тася будут жить здесь, в семье Булгаковых, переживая обрушившуюся на город череду переворотов. За город дрались немцы, поляки, «желто-блакитная» армия петлюровских националистов, большевики и созданная, наконец, армия Деникина. Снова и снова перехватывали власть над городом враждующие стороны, и всякий раз за вторжением следовали жертвы, чистки, погромы, страшная неизвестность и полное непонимание происходящего.

«Велик был год и страшен по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй» — так начинается знаменитый роман «Белая гвардия», охвативший события этого времени. Действие происходит здесь, в Киеве, в доме на Андреевском спуске (переименованном в романе на Алексеевский). Роман — не документальная хроника — гуще, ярче прописаны происходящие в городе события, близок, но далеко не идентичен реальному состав действующих лиц. Двадцативосьмилетний Алексей Турбин — «доктор, переживший испытания и тяготы, бритый светловолосый и мрачный с 25 октября 1917 года» — конечно же Михаил Булгаков. А в его друзьях и домашних легко узнаются почти не измененные портреты близких людей.

Варвара Афанасьевна — третья сестра Михаила — энергичная, привлекательная блондинка, ставшая прообразом «Елены рыжей», вышла замуж весной 1917 года за кадрового офицера, капитана Леонида Сергеевича Карума. С осени 17 года

супруги жили в Петрограде, затем переехали в Москву. В мае 1918 года вернулись в Киев. Леонид Сергеевич Карум, менявший свои убеждения вместе со сменой власти, стал в романе Тальбергом. Он имел все основания получить в описании Булгакова черты неприятного человека и махрового подлеца.

Летом того же года вышла замуж и Надя — третья в семье, самая близкая Михаилу сестра. Ее муж — Андрей Михайлович Земский, выпускник филологического факультета Московского университета, был мобилизован в Киевское военное училище. Окончив его, уехал по назначению в тяжелый артиллерийский гарнизон, расположенный в Царском Селе. Там и застал супругов Земских октябрьский переворот. В Киеве во время событий, происходящих в романе «Белая гвардия», Нади и Андрея не было.

Кроме Вари и ее мужа на Андреевском спуске жили трое младших детей — окончивший весной 1917 года гимназию Николай, семнадцатилетний Ваня и пятнадцатилетняя Леля, еще учившаяся в гимназии. В гостеприимном доме остановился некий дальний родственник — Илларион.

Комнат, правда, небольших, в квартире имелось семь, не считая кухни, ванной и большой застекленной веранды, выходящей во двор. План квартиры Булгаковых точно соответствует описанному в романе дому Турбиных. В романе «Белая гвардия» так много подлинных деталей и почти полной идентичности отдельных персонажей с их прообразами, что следование реальности можно было бы принять за общий принцип. Но не всегда реальный прототип соответствует литературному образу.

Николка — обаятельный, непосредственный, искренний — и в самом деле прекрасно играл на гитаре, с обожанием смотрел на старшего брата. Закончив гимназию, поступил в Киевское военное училище, а после его расформирования — на медицинский факультет Киевского университета. Николку трудно представить иным — для истории он остался пылким юношей, отчаянно защищавшим смертельно раненного Най-Турса в «Белой гвардии».

Литературный Карась и в реальности был Карасем — кадровым офицером, выписанным с фотографической точностью. Мышлаевского «сыграл» Коля Сынгаевский — давний друг семьи, породистый красавец, мечтавший стать балетным танцором, но с приходом петлюровцев ушедший в юнкеры.

У Шервинского был реальный прототип — довольно близкий дому Булгаковых бывший гвардейский офицер с мощным баритоном. При гетмане он служил адъютантом особы высокого сана, был невысок, широк в плечах, живописно красив и носил

великолепную форму с аксельбантами. У Булгаковых бывал часто, пел под Варин аккомпанемент, но флиртовал с влюбленной в него пятнадцатилетней Лелей. Варваре Михайловне пришлось, как матери, вмешаться в этот «роман», и визиты баритона прекратились.

Так что за Варварой Афанасьевной (Еленой рыжей) — любящей женой всем не симпатичного Л.С. Карума, вряд ли кто-то в те времена ухаживал.

Иллариону — Лариосику — Булгаков сохранил имя и портретное сходство, с наслаждением описывая обаятельную нелепость провинциального увальня.

Был и реальный Александр Александрович Глаголев — священник церкви Николая Чудотворца (в романе — Николы Доброго), венчавший Митю и Тасю. Он появляется в «Белой гвардии» в своем сане и, видимо, со свойственными ему характерными чертами.

Гимназисты Иван, Леля и живущая в это время в Царском Селе Надежда — просто остались за рамками и без того густо населенного дома Турбиных.

А вот с главными персонажами жизни Булгакова дело обстоит сложнее.

Начинается роман с похорон матери Турбиных — «светлой королевы», безвременно ушедшей из жизни и завещавшей детям: «дружно живите». Варвара Михайловна Булгакова, однако, пребывала в добром здравии и проживала все это время рядом — на Андреевском спуске, № 38, в доме Ивана Павловича Воскресенского, за которого вышла замуж летом 1917 года. (Почти в это же время простились с умершей матерью Турбиных.) Варвара Михайловна взяла фамилию второго мужа, но продолжала заботиться об оставшихся в Киеве детях.

Нет в романе и Таси, пережившей все события страшного года рядом с Михаилом. На первый взгляд — странно. Однако вполне понятно, что Тася, как свидетель и участник не вошедшей в роман негативной стороны жизни героя, не могла вписаться в сюжет. «Бесстрашие и достоинство» — девиз Алексея Турбина и собственное подлинное жизненное кредо Михаила Афанасьевича сильно дискредитировала история с морфинизмом.

«Нет ничего хуже, чем малодушие и неуверенность в себе…», «Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков… Нет, это самый страшный порок», — упорно внушает нам и себе писатель на страницах своих произведений. Он испытал это сам и вправе выступать в роли наставника. Но свидетель его испытаний и бедствий в лице все претерпевшей мученицы-жены писателю не нужен. Его беда и позор остаются «за кадром», вместе с

разделившей их Тасей.

Тася — жертва слабости, жесткости мужа — персонаж совсем иной истории, в которой один из супругов добровольно принимает жертву другого, пользуется его жизнью, его преданностью. Такого романа Булгаков не написал.

2

Снова Тася бегала по аптекам, с ужасом понимая, что болезнь мужа не ушла от возвращения в родной город. Там была глушь, нервные перегрузки, непомерная усталость. Здесь — ненависть к власти красных, все больше проявлявшая себя.

Но произошло чудо, о котором горячо молилась Варвара Михайловна: Иван Павлович Вознесенский начал консультировать Михаила, сам он наконец-то наглел силы скрутить себя в бараний рог — доза наркотика стала постепенно снижаться. Он все увереннее чувствовал себя, ощущая, как ослабевает зависимость.

«Главное — занять его интересным делом!» — решила Тася и спешно продала столовый серебряный сервиз, подаренный отцом к свадьбе. Михаил мечтал открыть собственный кабинет — в уездных больницах он собрал большой материал по распространению охватившей глубинки России эпидемии сифилиса. Денег хватило на обустройство кабинета и маленькой приемной. Над дверями кабинета появилась табличка: «Доктор М.А. Булгаков. Лечение венерических болезней».

Тася надеялась, что болезнь отступит, и день за днем в издерганном, замученном человеке будет возрождаться прежний умница, весельчак, балагур.

В 1918 году Михаил полностью отказался от впрыскиваний. С морфином было покончено. Но прежним он не стал. Наркотик истощил его нервную систему. В характере произошли тревожные изменения, проявилось то, что ранее скрывалось под здоровым оптимизмом и бурлящей веселостью: скрытность, мнительность, жесткость.

Приверженец милосердия и справедливости, он на деле не был внимателен и добр к людям. Временами проявлял ужасающее безразличие ко всему, казался безучастным, даже жестоким. Лишь в рамках обычных приличий Тася могла дождаться от мужа похвалы или доброго слова.

Он стал суеверен, опаслив, недоверчив. Сколь многого теперь боялся отчаянный некогда Михаил — темных, незашторенных окон, заразных инфекций, бродячих животных, чужих людей. Под

подушкой он держал отцовский браунинг. Говорил — от погромщиков и разбойников. На самом деле боялся чего-то иного, мерещившегося ему в темноте.

В этот год вернувшаяся с мужем в Киев Тася не радовала веселостью и общительностью. Она разучилась хохотать, веселиться с молодежью, она словно погасла и светилась лишь отраженным светом — от взгляда, слова Миши. Все ее внимание было сосредоточено на нем. Тася редко смотрела на себя в зеркало и, если задуматься, почти не относилась к себе как к отдельной личности, которая могла бы существовать без Михаила. Если его мучила зависимость от морфия, то она целиком зависела от него.

И это все больше раздражало Михаила. Тася казалась ему мелкой в своих интересах, страстях, малоинтересной как личность, и совершенно не интригующей как женщина. Отдушина в тягостные часы, самый близкий и тайный соучастник неблаговидных поступков и упаднических настроений — незавидная роль, обреченная на провал. Тася не роптала, привычно ощущая его превосходство, свою подсобную роль в Мишиной жизни. Никакого иного призвания, кроме помощи мужу, не ощущала в себе эта молодая, сильная женщина, и никаких желаний, кроме того, чтобы быть полезной единственно важному для нее человеку.

Она даже не отдавала себе отчета в том, что спасла его там — в глуши, погибающего от морфинизма. Доктор Бомгард — герой повести «Морфий», не сумев вырваться из наркотической зависимости, застрелился. Вполне вероятен такой исход был и для самого Булгакова. Если бы рядом с ним не было Таси.

3

Домик на Андреевском спуске, светивший теплыми окнами в ночи исторического бурана, из последних сил берег своих обитателей.

«… По счету киевлян, у них было восемнадцать переворотов. Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитывают их двенадцать. Я точно могу сообщить, что их было четырнадцать, причем десять из них я лично пережил».

Власть все время менялась, подчиняя город новым законам. Никто не знал, что будет завтра, какие портреты вывешивать, какие деньги припрятать, а какие поскорее спустить. Выглянет горожанин на улицу, с опаской приподняв край шторы, и перекрестится.

«То мелькнет в беге цепь и тускло блеснут золотые погоны, то пропляшет в беззвучной рыси разведка в жупанах, в шапках с малиновыми хвостами, то лейтенант в монокле с негнущейся спиной, то вылощенный польский офицер, то с оглушающим бешеным матом пролетят, мотая колоколами-штанами, тени русских матросов».

«… в зиму 1918 года Город жил странной, неестественною жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии… Тут немцы, а там, за дальним кордоном, где синие леса, большевики. Так вот-с, неожиданно появилась третья сила на громадной шахматной доске… Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четыреста сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой… Пет-люра!!!»

Весь день ухали за городом пушки. Уже в темноте пришел Коля Сынгаевский с Карасем, рассказали: петлюровцы наступают. Гетман шляхетского войска, в то время удерживающий Киев, решился, наконец, формировать дружину из бывших офицеров царской армии, необученных студентов и юнкеров, находящихся в городе.

— Куда мальчишек под пули этих живодеров подставлять? Им же числа нет!

— Я б вашего гетмана, — горячился Михаил, — повесил бы первым! Кто полгода тянул, запретил формирование русской армии? Гетман. А теперь, когда жареный петух в голову клюнул, опомнился! В двух шагах враг, а они спохватились — срочно собрать дружины, штабы!

— Панику сеешь, — хладнокровно сказал Карась.

— Я? Панику? Вы меня понять не хотите. Жертва это, а не сражение. Мальчишки против армии! Но лично я уже решил: как бы там ни было, завтра иду в этот самый дивизион и запишусь врачом. Врачом не возьмут, пойду рядовым.

— Правильно! — Карась стукнул по столу.

— Завтра пойдем все вместе, — решил вспыхнувший пятнистым румянцем Сынгаевский. — Вся Алексеевская Императорская гимназия. Ура!

Ночевали у Булгаковых и чуть свет пошли в штабы дивизиона. До захвата города Петлюрой оставалось чуть больше 40 часов. И никто еще не знал, что позорно бежал под покровом ночи гетман, бросив обреченный город.

Что произошло дальше — с потрясающей трагической силой и магией личного присутствия изображено в романе «Белая гвардия».

Гетман и его штаб тайно скрылись под покровом ночи, бросив в городе один на один с несметным воинством Петлюры

горстку юнкеров и спешно вооруженных гимназистов. На заснеженных пустых улицах города пытались удержать эти юные смертники, возглавляемые отважными офицерами, мощную конницу Петлюры.

По сюжету романа Алексей Турбин, не получивший предупреждения о предательстве гетмана, попадает под пули петлюровцев. Его ранение, побег, чудесное спасение загадочной черноглазой Юлией — печально-романтическая ветвь сюжета, сплетенного из элементов личных впечатлений и великолепного живого вымысла.

На самом деле было так. Как и решили, Сынгаевский, Карась, Николка и Михаил рано утром отправились записываться в армию. В полдень Михаил вернулся домой на извозчике и сквозь зубы бросил:

— Все кончено — Петлюра в городе.

4

Петлюра — ужас Киева. Это погромы евреев и русских, грабежи, расстрелы, демобилизация.

Вскоре петлюровцы пришли за доктором Булгаковым и увели с собой. В доме никого не было, пришлось оставить Тасе записку: «Приходи к мосту на Подоле, принеси вещи, сигареты, еду».

Чуть свет Тася была в указанном месте. Увидела истоптанный, унавоженный конницей снег с пятнами крови. Сумятица, выстрелы, обрывки смачных украинских ругательств… Михаил сидел на коне, на рукаве синяя перевязь с красным крестом, занесенный метелью башлык. Склонившись к Тасе, он зашептал:

— Ночью петлюровцы наверняка драпать начнут. По этому мосту на Слободку отходить будут. Красные напирают.

— А ты как же? Если красные? Ты ж их больше всех боишься. — Держась за подпругу, Тася смотрела снизу в лицо мужа и видела в нем страшную, окаменелую отстраненность человека, осознавшего неминуемую гибель.

В тот день Михаил решил про себя — пан или пропал. Он далеко не был уверен, что останется жив. И не мог предполагать, какие потрясения ожидают его страшной морозной ночью.

Позже Булгаков неоднократно описывал эпизод побега и главный ужас — убийство человека, свидетелем которого он стал. Ближе всего к реальности все это выписано в эпизоде спасения доктора Бакалейникова (из неоконченного романа «Красный мах»).

«Первое убийство в своей жизни доктор Бакалейников увидал секунда в секунду на переломе ночи со 2-го на 3-е число. В полночь, у входа на проклятый мост, человека в разодранном черном пальто с лицом синим и черным, в потеках крови, волокли по снегу два хлопца, а пан куренной бежал рядом и бил его шомполом по спине. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечало сиплое: ух…а.

Ноги Бакалейникова стали ватными, подогнулись, и качнулась заснеженная слободка.

— А-а, жидовская морда! — исступленно кричал пан куренной. — К штабелю его на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться! Я т-тебе покажу! Шо ты робив за штабелем? Шо?

Но окровавленный не отвечал. Тогда пан куренной забежал спереди. Хлопцы отскочили, чтоб самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан куренной не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то крякнуло, черный окровавленный не ответил уже: ух… Как-то странно подвернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной унавоженной белой земли.

Еще отчетливо Бакалейников видел, как крючковато согнулись пальцы и загребали снег. А потом в темной луже несколько раз дернул нижней челюстью лежащий, как будто давился, и разом стих».

Бежали, отступали петлюровцы, одетые в черные балахоны.

«…У белой церкви с колоннами доктор Бакалейников вдруг отделился от серой ленты и, не чувствуя сердца, на странных негнущихся ногах, пошел в сторону прямо на церковь. Ближе колонны. Боже, все заколочено! Нет ни души. Куда бежать? Куда? И вот оно сзади, наконец, страшное:

— Стый!

Ближе колонна. Сердца нет.

— Стый! Сты-ый!

Тут доктор Бакалейников — солидный человек — сорвался и кинулся бежать так, что засвистело в лицо.

— Тримай! Тримай його!!

Раз. Грохнуло. Раз. Грохнуло. Удар, удар, удар. Третья колонна. Миг. Четвертая колонна. Пятая. Тут доктор случайно выиграл жизнь, кинувшись в переулок. Иначе бы в момент догнали конные гайдамаки на освещенной, прямой, заколоченной

Александровской улице. Но дальше — сеть переулков кривых и черных. Прощайте! В пролом стены вдавился доктор Бакалейников. С минуту ждал смерти, разинув рот и глотая раскаленный воздух. Развеял по ветру удостоверение, что он мобилизован в качестве врача «першего полку синей дывызии». На случай, если в пустом городе встретится первый красный патруль…»

Все это мы увидим в «Белой гвардии» и в «Днях Турбиных». И уже больше никогда не сможем думать о Петлюре как о патриоте. Для нас он навсегда останется бандитом, черносотенцем, убийцей по кличке Пэтурра, мимолетом посетившим Киев и оставившим на его улицах трупы. Булгаков не мог ошибиться, и, если он увидел в Петлюре бандита, значит, все версии его позднейшего возвеличивания — тяга к мифу, мечта Украины о национальном герое.

В ночь на третье февраля Михаил пережил сильное нервное потрясение — неделю пролежал безмолвно, бормоча что-то невнятное.

Город уже заняли красные. Это было их второе явление в Киев, переполненный бегущими к югу от большевиков людьми.

«Большевиков ненавидели…. ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам. И как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все — купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры и домовладельцы, кокотки, члены государственного совета, инженеры, врачи и писатели».

Когда красные первый раз взяли город, их ненавидели и боялись. Боялись массовых расстрелов, поджогов — «классовой чистки».

Второй приход большевиков был отмечен заколоченными витринами, закрытыми воротами домов и пустыми улицами.

Киевляне сидели по домам, опасаясь высовываться и попасть в облаву. Новая власть заставляла жителей города выходить на работу, дабы оживить торговлю, почту, телеграф. У Таси была справка о туберкулезе. А доктора Булгакова красные не тронули. Переждав несколько дней, он продолжил заниматься частной практикой.

5

Гражданскую войну Булгаков изобразил в «семейном» аспекте, поскольку с недоверием относился к любому

целенаправленному воздействию на историю. Что он мог противопоставить кровавой несуразице окружающей жизни? Реставрацию монархии с последующей всероссийской поркой? Интервенцию с принудительной европеизацией России?

Действие романа «Белая гвардия» обрывается зимой 1919 года. Неизвестно, что произойдет с его героями дальше. Некий свет оптимизма, исходящий от намеченного автором в финале предчувствия новой жизни, позволяет надеяться на лучшее.

Реальность же не оставила места иллюзиям. Булгаков завершил повествование о Турбиных картиной слабо манящей надежды — иначе и мечтать о публикации было нечего. Но сам знал другое.

«Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете… Мать сказала детям:

— Живите!

А им придется мучиться и умирать».

«Придется мучиться и умирать» — это сказано в самом начале романа «Белой гвардии», над которым Булгаков работал — в 1923–1924 годах. Слова оказались пророческими.

Варвара Михайловна умерла от тифа 1 февраля 1922 года в Киеве в квартире Воскресенского. Потрясенный смертью матери, Михаил отправляет письмо сестре Наде, в котором, обращаясь к матери на Ты (с большой буквы) пишет о том, чем она была в жизни детей, напоминает о необходимости сохранить дружбу во имя памяти матери.

На похороны в Киев, находящийся тогда в полном нищенстве, писатель поехать не смог. Ее памятником стали строки в «Белой гвардии».

Иван ушел с белыми, эмигрировал в 1919-м, не успев получить высшего образования. Попал в Париж, где играл на балалайке в русских ресторанах, работал таксистом, писал прекрасные стихи. Оторванный от родных корней, этот юный, порядочный до наивности человек с огромными усилиями выживал в эмиграции, что плохо удавалось и значительно более сильным людям. Иван спился, играя на балалайке по дешевым притонам.

В 1919 году с белой армией ушел и Николай, осел в Загребе, где продолжил учение на биологическом отделении университета. Нищенствовал, голодал, изнемогал от одиночества и тоски по близким. Работал с тифозными больными и в оспяных бараках.

Николай Афанасьевич — человек талантливый и целеустремленный, несмотря на все лишения эмиграции, стал видным профессором, микробиологом. Уехал в Париж, женился

на дочери киевского профессора. Смерть Николая была нелепа. Он отправился искать игравшего в трущобах на балалайке Ивана. Простудился и умер от воспаления легких в 1966 году.

После выхода в свет романа «Белая гвардия» Варя написала Михаилу гневное письмо: «Какое право ты имел отзываться так о моем муже? Ты мне не брат после этого».

Леонид Карум, сбежавший в Москву в 1919 году, когда Киев заняли белые, поселился у Нади Земской — сестры жены. Потом скрывался еще где-то. В конце 20-х его и мужа Надежды — филолога Андрея Земского, не имевшего никакого отношения к белому движению, арестовали. Земского выслали в Красноярск, куда к нему приезжала жена Надя. Карума — в Новосибирск. Варя оставила квартиру в Киеве и уехала к нему. В Новосибирске давала уроки музыки, Леонид Сергеевич преподавал немецкий и латынь. Однако Карум оставил Варю, женившись на молодой женщине. Варвара Афанасьевна — знаменитая «рыжая Елена» — обворожительная, трепетная, мужественная и хрупкая героиня «Белой гвардии», умерла в 1954 году в больнице для слабоумных.

Сынгаевский (Мышлаевский) и баритон, послуживший прототипом Шервинского, ушли с белыми и оказались в эмиграции.

Печально сложилась судьба инженера Листовничьего (Василисы). Полковник деникинских войск, служивший на оборонительном участке, он был арестован красными и погиб в тюрьме.

Был арестован и, вероятно, расстрелян священник церкви Николая Чудотворца А.А. Глаголев.

Этот трагический финал судеб представителей семейства Булгаковых и их окружения отличается от перспективы, смутно, но все же оптимистически намеченной писателем. Булгаков издавал свой роман в большевистском государстве, и расставленные в нем политические акценты вполне объяснимы. Верным же остается отсчет от данной в романе характеристики Алексея Турбина, «постаревшего и помрачневшего после 25 ноября 1917 года». Эта дата явилась определяющей и в трагедии семьи Булгаковых, всей российской интеллигенции.

А также в судьбе писателя — «отщепенца», «чуждого элемента» Булгакова, замученного в Стране Советов нищетой, творческой нереализованностью, преследованиями литературной просоветской клики.

Кавказ

1

В сообщении о создании Добровольческой армии был напечатан приказ Деникина о подчинении ему всех войск на территории России и мобилизации всех офицеров. Призванный в армию в качестве военврача, Булгаков отправился во Владикавказ. Вскоре к мужу приехала Тася.

Белые, вслед за красными, с промежутком не более чем в шесть месяцев отправились «вразумлять» чеченцев, восставших в Чечен-ауле и Шали-ауле. Но чеченцы, не признавшие комиссаров, не признавали и Деникина с его покойной империей. Михаила направили в перевязочный отряд на линию боев.

Обстановка на фронте накалялась с каждым днем. Булгакову, который вопреки своей воле оказался участником «контртеррористической операции», пришлось дежурить на перевязочном пункте ночами. Помогая изувеченным людям, он все меньше понимал, за что и с кем он сражается. Обидно умереть вот так — непонимающим, непонятым. Не успев израсходовать силу, ниспосланную свыше. Не силу кулаков или пули — силу слова. Чем круче затягивался узел событий, тем сильнее было желание запечатлеть происходящее.

«Ночь нарастает безграничная. Тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спиной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к траве, тени в черкесках. Ползут, ползут… И глазом не успеешь моргнуть: вылетят бешеные тени, распаленные ненавистью, с воем, с визгом, и… аминь!..

(…) Да что я, Лермонтов, что ли? Это, кажется, по его специальности? При чем здесь я?

Заваливаюсь на брезент, съеживаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с алыми брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица тоски. Встает зеленая лампа, круг света на глянцевых листах, стены кабинета… Все полетело верхним концом вниз и к чертовой матери! За тысячи верст на брезенте, в страшной ночи. В Ханкальском ущелье».

> «Сегодня я сообразил наконец… Довольно глупости, безумия. В один год я перевидал столько, что хватило бы Майн Риду на 10 томов. Но я не Майн Рид и не Буссенар. Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не означает обязательно быть идиотом…
>
> Довольно!
>
> Все ближе море! Море! Море!
>
> Проклятье войнам отныне и вовек!»

Так будет описан этот эпизод в **«Записках на манжетах».**

Увы, море было еще далеко.

Вскоре доктора Булгакова направили в Грозный, из Грозного — в Беслан, запомнившийся тем, что питание состояло сплошь из одних арбузов. Правда, солдаты воровали кур во дворах, варили и приносили доктору.

И вновь перевод во Владикавказский госпиталь.

Зима 1919 года, липкая, дождливая, промозглая. Поселили доктора с женой в школе — громадном, пустом, холодном здании. Но выдавали неплохой паек, платили жалованье и даже обеспечили денщиком.

На базаре можно было купить все необходимое — муку, мясо, селедку. Миша стал печататься в газете «Заря Кавказа». Говорил жене: рассказы пишет, пустяки. Иногда даже давал читать. Она все нахваливала, всему радовалась, а он пренебрежительно дергал углом рта и комкал газету. Но писать не бросал. Только приходил из госпиталя — и либо за письменный стол садился чуть не до утра, либо удалялся на какие-то загадочные «дежурства». На жену — ноль внимания, словно она пустое место.

В апреле Михаил ездил в Пятигорск. Вернулся почесываясь:

— Что там у меня на спине, посмотри, Тась?

Тася подняла рубашку, присмотрелась, щелкнула ногтями:

— Вошь…

Через некоторое время у Михала началась страшная головная боль, его бросило в озноб, трясло под двумя одеялами и наваленными сверху пальто. Температура оказалась огромная.

«Тифозная вошь!» — поняла Тася.

Кто бы мог тогда подумать, какую роль сыграет это ничтожное насекомое не только в судьбе доктора деникинской армии Булгакова, но и в мировой словесности. Вошь заставила писателя «встать на сторону революции», «душой принять новый строй» (так писали в его биографии в советские годы, не упоминая, естественно, тиф). Вошь сделала его чужаком в своей стране, мучеником, затравленным советской литературной кликой. Но ведь одному Богу известно, как сложилась бы его судьба «там» — в эмигрантских бегах с белыми офицерами. Выбора тогда не было — беда была общей.

— Что же мне делать? — прибежала Тася к начальнику госпиталя. — В жару мечется.

Пожилой врач с погонами деникинской армии под белым халатом и пышными седеющими усами развел белыми хирургическими руками.

— Вот уж не вовремя захворали. Н-да…Уходим мы. Госпиталь

срочно сворачиваем. Красные на пятки, понимаете ли, наступают. Возьмем в обоз.

— Как — в обоз? На арбе через ущелье везти? Не выдержит он. — Тася рухнула на стул и схватилась за голову. Доктор задумался:

— Возвратный тиф. Случай, конечно, чрезвычайно серьезный. Получается, голубушка, что трогать его вам и в самом деле никак нельзя. Риск большой. Как оно там все сложиться в дороге, одному Богу ведомо…

3

В «Записках на манжетах» Булгаков подробно описывает свою болезнь. Ухаживает за больным «хозяйка» — некая дама по имени Ларочка (имевшая реальный прототип). К ней, а не к Тасе обращены его бредовые реплики.

«Беллетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле… Голова, оголенная тифом… Френч, молью обгрызенный, и под мышкой — дыра. На ногах — серые обмотки. Одна — длинная, другая — короткая. Во рту — двухкопеечная трубка. В глазах — страх с тоской в чехарду играют.

— Что же теперь бу-дет с нами? — спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут.

— Что? Что?

Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви (…)

Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос:

— Сегодня утром ингуши будут грабить город…

Слезкин дернулся в кресле и поправил:

— Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра сутра.

Нервно отозвались флаконы за стеной:

— Боже мой? Осетины?! Тогда это ужасно!

— Ка-кая разница?..

— Как какая?!..Ингуши, когда грабят, то… они грабят. А осетины — грабят и убивают…

— Всех будут убивать? — деловито осведомился Слезкин, пыхтя зловонной трубочкой.

— Ах, боже мой! Какой вы странный! Не всех… Ну, кто вообще… Впрочем, что ж это я? Забыла. Мы волнуем больного.

Прошумело платье. Хозяйка склонилась ко мне…

— Ради бога, не говорите с ним! Опять бредить начнет…

— Вздор! — строго сказал Юра. — Вздор! И все эти мингрельцы имери… Как их? Черкесы. Просто дураки!

— Ка-кие?

— Просто бегают. Стреляют. В луну. Не будут грабить…»

Забавный эпизод под названием: «Что будем делать?» Смешной бред больного, живописные персонажи подчеркивают нелепость, даже некую водевильность ситуации. Это в литературном варианте. Реальность же была куда печальней.

Белые ушли, исчезла шелестящая «хозяйка», окна заколотили, город словно вымер — безвластие. Только слышны ночами выстрелы, гортанные крики, бегают по стенам отсветы пожаров — погромы и мародерство в брошенном городе. Тася совсем одна — ни души, хоть вой, хоть ори. Миша бредит, и все страшнее становятся его уходы в беспамятство.

Шесть кризисов миновало у заболевшего возвратным тифом Михаила Афанасьевича. Каждый — на грани жизни и смерти. Тася, еле держась на ногах от усталости, сутками не отходила от постели мужа, грела воду, меняла компрессы, давала лекарства — была и медсестрой, и сиделкой, и верной подругой.

На изломе последнего, самого страшного кризиса дыхание больного, только что бурное, остановилось, глаза закатились. «Конец!» — подумала Тася. Вмиг навалилось одиночество — страшное и беспросветное. «Но грудная клетка больного вновь поднялась, из горла со свистом вырвался воздух. Он задышал все ровнее, опустились веки — уснул. Кризис миновал. С этого момента Михаил стал медленно выздоравливать».

4

Занявшие город красные первым делом организовали Терский ревком, одним из главных направлений которого была борьба с чуждыми элементами — «недобитой контрой». По киевским переворотам Михаил уже знал повадки новой власти и старался избежать встречи с ней. Но жить-го надо.

Пришел Слезкин — известный литератор. Стройный брюнет с выразительными темными глазами и родинкой на щеке. Юрий Слезкин прославился своими многочисленными романами «о страсти», и особенно последним — «Ольга Орг», изданным в канун Первой мировой войны. Поклонницы ходили хвостом, критики превозносили, фильм по роману сняли — жизнь беллетриста была вполне успешной. Черт бы побрал этот октябрьский переворот! Оказавшись с женой во Владикавказе вместе с белыми, Слезкин возглавил редакцию местной газеты. У

него в качестве корреспондента подрабатывал доктор Булгаков. Красные поручили Слезкину заведывание подотделом искусств. Едва отболев тифом, бритый наголо Юрий поспешил к больному Михаилу, стараясь подбодрить его новыми планами (что и отражено в эпизоде «Записок на манжетах»). Теперь же — планы обрели реальные очертания.

Живописно обросший темным ежиком, Слезкин прибыл к Булгакову с новым дерматиновым портфелем, означавшим его высокое общественное положение.

Правда, обмотки остались прежними. Подмигнул черным с поволокой глазом обольстителя:

— Зав. тео — театральным отделом! Как тебе такая должность?

— Юра, я ж при белых печатался. Стоит высунуться — тут же за задницу схватят.

— Я высунулся — и вот — начальник. — Он похлопал по дерматину. — А ведь был главным редактором «Зари Кавказа». Хитрее надо быть, Миша, гибче. Чему тебя жизнь учила?

— Выживать. Как крыса в крысоморке.

— Зря так нервничаешь, клянусь. Я тебе обещал — все устроится? Устроилось. — Юрий победно вздернул подбородок и открыл портфель: — Все они у меня тут!

— Чаю будете, Юра? У нас сахара, правда, нет. Но мед настоящий. Давний пациент Мише принес, — засуетилась Тася, выставляя на стол чашки.

— Спасибо, Татьяна Николаевна. Не беспокойтесь. Я, как заведующий подотделом искусств, хочу предложить Михаилу руководство театральной секцией. В городе успешно работал драмтеатр, оперетта. В театре существовала отличная труппа и неплохой репертуар. Разумеется, «вредный» для новой пролетарской идеологии — Островский, Чехов, Грибоедов, Гоголь. Вот его и надо осмыслить в духе новой политики, подладить к новым требованиям. Что смотришь, как чекист на контру? Жизнь — театр. Мы, как известно, актеры. Не спорю — «спектакль» дерьмовый. Но тебе предлагают новую роль, так вживайся, вживайся в предлагаемые обстоятельства, Станиславский!

— Я театр уважаю, — горько усмехнулся Михаил. — Особо в русле новой идеологии. Особо, если больше деваться некуда. По рукам!

— Только вот тут штука такая хитрая. — Слезкин вытащил из портфеля сложенный бланк и протянул Михаилу. — Учетный листок из отдела кадров. Вопросы интересные задают, на преданность новой власти проверяют. Заполнить надо.

— Какая же у меня, к чертям, преданность! — Михаил взял бланк: — «Профессия». И что писать?

— Что-нибудь нейтральное… — Слезкин поднял томные глаза к потолку. — Ну, скажем…

— Микробиолог! — подсказал Михаил. — Они такого слова, будьте спокойны, не знают. Ясно одно — далек от политики и с чем-то мелким возится. Посредством микроскопа.

— Полагаешь, они о микроскопе слышали? Тогда уж лучше — микробиолог с театральным уклоном.

— Чушь!

— Ты сам говорил, что «Фауста» 41 раз слушал. А какой баритон! Пиши, пиши!

— «Участвовал ли в боях?» — прочел следующий пункт Михаил. — Ну, здесь мне сразу каюк.

— Прочерк ставь. У всех сплошные прочерки. Происхождение — служащий. Не дворянин же.

— А вот вопросик на засыпку: «Ваш взгляд на современную эпоху?» Как тебе, а? Глубоко копнули! Да за мой взгляд — прямиком к стенке!

— Ну, тут проще пареной репы. Запомни и всегда отвечай без запинки. Пиши — «Эпоха великой перестройки!» И подпись: 1 окт. 1921. — Юра спрятал заполненный листок в портфель и щелкнул замком. — Считай — ты — зав. тео!

Довольная Тася разливала деятелям искусств чай.

Так микробиолог Булгаков поступил на службу в подотдел искусств. Вначале заведующим театральной секцией, а потом и литературной. Во Владикавказе художественная жизнь била ключом.

Булгаков пишет в местную газету «Красный Кавказ» фельетоны, энергично разворачивает работу театральной секции: выступает перед спектаклями, организовывает тематические концерты и диспуты.

«Я читал вступительную статью «О чеховском юморе». Но от того ли, что я не обедаю вот уже третий день, или еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно. В театре — яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил: это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие. Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал:

— Чтоб их разорвало с их юмором! На Кавказ заехали, и тут голову морочат!..

(…) Кончено. Все кончено!.. Идет жуткая осень. Хлещет косой

дождь. Ума не приложу, что ж мы будем есть? Что есть-то мы будем?! БЕЖАТЬ!»

5

Лейтмотив «бежать» звучит чуть ли не во всех текстах Булгакова этот периода. Невыносимо тяжко оказалось «вживаться в роль» служителя искусств у новой власти, совершенно, на взгляд нормального «бывшего интеллигента», маразматической. Но Булгаков продолжает бороться, ищет возможности заработать. Он создает новый, «созвучный времени» репертуар. Получается не сразу. Осенью 1920 года была написана первая одноактная пьеса «Самооборона». 21 октября состоялась премьера. Зал гремел аплодисментами, но спектакль продержался в репертуаре недолго — пьеса была забракована начальством как «салонная».

Вторая пьеса, вышедшая из-под пера «микробиолога» Булгакова, называлась «Братья Турбины» и повествовала о судьбе двух братьев — эфиромана и революционера в напряженной ситуации 1905 года. Замысел «Белой гвардии» уже вынашивался Булгаковым, шел поиск подходов к нему.

Этой же зимой Булгаков пишет еще три пьесы: «Глиняные женихи» (тоже «салонную» комедию, не удовлетворившую начальство), «Парижские коммунары» и «Сыновья муллы».

Увы, все эти попытки заработка нельзя было назвать творческой работой. Но зритель принимал их на «ура»! Писателя мучили противоречивые чувства, которыми он не хотел делиться с Тасей. Чувство стыда за несовершенство наскоро состряпанных пьес спорило с разгоревшимися под звук аплодисментов амбициями.

В письме к сестре Наде Михаил жаловался, что, сгорая от эстетического стыда, кропает пустяковые поделки. Спасает только роман, который пишет тайком, — единственно продуманную вещь.

Тася оставалась в неведении относительно творческих страданий Михаила. На ее взгляд, если б не полное отсутствие денег, карьеру Михаила можно было бы признать вполне удачной. Пьесы Булгакова шли с бурным успехом, и сидевшая всегда в первом ряду Тася хлопала громче всех, когда вызывали автора.

Муж стал поздно возвращаться из театра, отговариваясь затянувшимися репетициями. Его видели в ресторане с актрисой Лариной, игравшей роль парижского мальчишки Анатоля Шоннара. Даже дома Михаил не мог удержаться, чтобы не расхваливать необычайный талант актрисы. «Снова влюблен», —

решила Тася, знавшая о чреде увлечений Михаила. Она давно поняла— Михаил не может жить без чувства влюбленности. Его влекут женщины яркие, манящие, вызывающие всеобщее восхищение.

От этого не легче, и все труднее с каждым разом скрывать обиду.

Он вошел, изображая усталость. Объяснил сквозь зубы:

— С комиссией по поводу Грибоедова собачились. Хотят закрыть «Горе от ума». И плевать всем, что я — зав. тео — об этом думаю.

Тася подняла уставшие глаза от работы:

— Знаешь, завтео, у тебя с носками полнейший кризис. Надо что-то придумать.

— Босиком выходить буду. А что ты предлагаешь, обмотки? Слезкин ходит в обмотках. А я не собираюсь. Человек сцены не должен ходить в обмотках!

— Понимаю, в носках удобней за актрисами ухаживать. А ты своей Лариной скажи, что жена больше штопать не может. Пусть она тебе штопает.

— Ну что ты говоришь? Какая связь — Ларина и носки? Она же актриса, таланта грандиозного… А ты все сводишь к каким-то тряпкам и керосинкам! И чуть что — в слезы! — Он ушел, хлопнув дверью.

Неизвестно, чем бы завершился этот роман Михаила, но муж Лариной, заметив неладное, добился ее перевода в пятигорский театр. А Тася в очередной раз сказала себе: «Знай свое место, жена». Место ее определялось все яснее — кухня да толкучка, где Тася продавала последние свои вещи.

Повторяла постоянно: «главное — хлеб, дрова и белье. Без них нищета и смерть».

Наступил период «поедания цепочки». Та золотая толстая цепь, крученная веревочкой, что подарила Тасе после свадьбы мать, долго спасала их от голода — Тася по кусочку относила ее ювелирам. Голод отдалялся ровно на длину постоянно укорачивающейся цепочки.

— Должен же я заработать! — впадал в ярость Михаил. — Хоть как-то. Женщине можно продавать себя.

А кому нужен я? Интересно, тяжело быть проституткой? Боюсь, придется попробовать!

И он попробовал.

«— Сто тысяч… У меня сто тысяч!..

Я их заработал!

Помощник присяжного поверенного из туземцев пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал:

— У меня тоже нет денег. Выход один — пьесу нужно написать. Из туземной жизни. Революционную. Продадим ее…

Я тупо посмотрел на него и ответил:

— Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их быта (…) Я устал, и кажется, у меня нет способности к литературе.

Он ответил:

— Вы говорите пустяки. Это от голоду. Будьте мужчиной. Быт — чепуха! Я насквозь знаю быт. Будем вместе писать. Деньги пополам.

С того времени мы стали писать (…) Он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи, а я сочинял фабулу.

<…> Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я прочитал ее у себя в нетопленой комнате, ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал. В смысле бездарности — это было нечто совершенно особенное, потрясающее! Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества (…) С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью, сообразил (…) написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь…

В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее немедленно купили за 200 тысяч. И через две недели она шла.

В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши — после того как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников — кричали:

— Ва! Подлец! Так ему и надо!

Автора вызывали, за кулисами пожимали руки и звали на банкет в аул.

— Пирикрасная пьеса!

…Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать отсюда. Вперед. К морю. Через море и море, и Францию — сушу — в Париж!

…Косой дождь сек лицо, и, ежась в шинелишке, я бежал по переулкам в последний раз — домой…

….Вы — беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будь вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я! В коллективном творчестве. Писали же втроем: я, помощник поверенного и голодуха. В 21-м году, в его начале».

Однажды с карьерой Булгакова в Лито было покончено — он посмел на публичном диспуте заступиться за Пушкина, которого

докладчик рвал в клочья.

В зале завязалась потасовка между сторонниками докладчиков и преобладающей массой противников. Защита Пушкина имела тяжелые последствия для всей художественной организации. Комиссия, ревизовавшая в октябре 1921 года подотдел искусств, пришла к выводу о полном развале работы.

> «Чаша переполнилась. В 12 часов приехал «новый заведывающий». Он вошел и заявил: «Па иному пути пайдем! Не нады нам больше этой парнографии: «Горе от ума» и «Ревизора». Гоголи. Моголи. Свои пьесы сачиним».

Затем сел в автомобиль и уехал.

Его лицо навеки отпечаталось у меня в мозгу».

Все яснее становилось, что оставаться во Владикавказе нельзя. В маленьком городе все на виду, а уж Булгакова после его публичных выступлений часто узнавали на улице. Кое-кто тыкал пальцем: «Вон белый из театра идет!»

Снялись срочно и уехали в Тифлис. Но и там устроиться на работу было невозможно. Спешно продали именное обручальное кольцо Михаила, заказанное перед свадьбой Варварой Михайловной в знаменитой Киевской мастерской Маршака. Поехали в Батуми. Бананы, пальмы, цветущие гранаты, море! Тасе казалось, что они уже за границей и уж жизнь здесь непременно как-то устроится. Пробегав целый день по редакциям, Михаил возвращался злой, с трудом сдерживая взрыв. Крупные ноздри нервно раздувались.

— Проклятая земля! Такой рай большевики изгадили. Никому нигде я не нужен. И смотрят на меня как на вошь. «Из бывших?» Сволочи! Сами-то что, навоз и деревне ворочали?

— Ты ж хорошие фельетоны пишешь. Слезкин хвалил.

— Никому ничего не надо. И что из всего этого следует, жена?

— Уезжать.

— Бежать!

Михаил стал ходить в порт в поисках возможности нелегального выезда за границу. Но даже за провоз в трюме моряки требовали приличные деньги. Из имущества остались одеяло, примус и Тасино обручальное кольцо, которое она берегла, как талисман. Михаил пытался продать на базаре примус. Но давали за него копейки, и морякам, в качестве платы за нелегальный провоз, хозяйственный инвентарь был не нужен.

— Вот что, Тася, сделаем следующее. Сидеть нам здесь опасно, я в порту многим про свое желание драпануть за пределы

родины наболтал. Если стукнут, арестуют. Жрать нам нечего. Ты поедешь в Киев или в Москву, к Наде. Я ей написал, что собираюсь уехать. Просил, чтобы она помогла тебе как-нибудь устроиться. А я буду пытаться выбраться. Если выйдет сбежать в Константинополь — устроюсь там, тут же вызову тебя.

— Миш… — Тася опустила глаза. — Как же я туда вырвусь…

— Не будем загадывать, должно же нам, наконец, повезти?

Тася продала свое обручальное кольцо — сердце кровью обливалось, и противненький голосок нашептывал: «Ага, счастье свое выпускаешь?» На вырученные деньги купили ей билет на пароход в Одессу. Оттуда уже поездом надо было ехать дальше. Половину денег Тася оставила Мише.

«Батуми. Бананы, пальмы и море непрерывно поет у гранитной глыбы. На обточенных соленой водой голышах лежу как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинает, до поздней ночи болит голова. И вот ночь — на море… Довольно! пусть светит Золотой рог, я не доберусь до него. Запас сил имеет придел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь…»

В последнюю ночь перед отъездом Таси Михаил лежал на камнях пустого пляжа не один — с Тасей. Тихая волна била о камень расколотый арбуз. Голодные, они пренебрегли этой подачкой. Потому что главное, как твердил Михаил, в любой ситуации сохранить достоинство. Набухший соленой водой арбуз — не велик соблазн для утраты достоинства.

Измученные, потерянные, они впитывали спиной прохладу остывших камней и смотрели в небесный бархат, усеянный алмазной пылью.

— Завтра меня здесь уже не будет. Камень этот будет, звезды будут, а меня нет… — тихо сказала Тася, думая о том, что расстаются они конечно же навсегда.

— Так лучше. Сама видишь, не помирать же здесь вдвоем с голодухи.

— А ты сбежишь в Константинополь. Или в Париж. Я же знаю — мне туда уже не прорваться.

— Ерунду говоришь, вот устроюсь и тебя вызову. Образуется как-нибудь.

— Не вызовешь. Другую, получше найдешь. Талантливую и вдохновенную, — засопела набухшим носом Тася.

Михаил сел, заглянул ей в лицо:

— Тася, Тася! Это же другое! Их много, а ты одна. И ты — своя. Пока тебя две недели во Владикавказе ждал, понял: не приедешь — сдохну. Верно, верно, словно кусок меня самого оторвали. Ни есть, ни пить не мог. Мы ж впитались друг в друга.

И ты — это уже часть меня, моей крови, моей памяти. И что бы со мной ни произошло, она будет со мной до смерти.

— Понятно. Буду помнить, что где-то в Париже проживает моя часть… Господи, Миш, а ведь и правда — без тебя я не целая. Не хватает чего-то самого главного. Словно сердце выпотрошили. Вот если даже на недельку расстаемся, то тревога такая, хоть на стену лезь.

— Мы неразлучны даже в разлуке. Сама знаешь — ты самый близкий, самый необходимый мне человек. Никто меня так, как ты, не знает. Никто и любить так не будет.

— Нет, Миша, ты мне не весь открываешься. Ты ж себя поделил — кому беленький, а кому и черненький сойдет. На мою долю — пропитание, компрессы, нытье про страхи разные. А сестре Наде и разным своим «вдохновенным музам» — разговоры душевные, литературные диспуты… Что писателем стать надумал, я последняя, наверно, узнала, — выплеснула обиду Тася.

— Ты ж все видела! Я перед тобой весь как на ладони! Ничего не скроешь.

— А писание свое скрывал. Животом ящик стола задвигал, когда я подходила. Не Таськиного ума дело.

— Да пойми же — не буду я Наде и всяким посторонним рассказывать, как в бреду метался, как от ломки мучился и тебя мучил… Сам себя презираю за это. Перед людьми лучшее выпячиваю, героем рисуюсь. А перед тобой рисоваться никак не выйдет.

— Выходило раньше. Помнишь, как ты у цыган романс мне пел, а потом в Днепр кинуться хотел? И такой был романтичный, бесстрашный… в белой рубашке. — Тася поправила застиранный воротничок на последней рубашке мужа. — Нельзя, значит, на такого героя вблизи смотреть.

— Тася… Да пойми ты… То, что я пишу, — вроде и не совсем правда. Насмешничаю, в юмор все перевожу. Ну, водевиль этакий, для веселья читателей. А в жизни мы с тобой трагедию играем.

— И эта трагедия есть правда. — Тасино лицо, обращенное вверх, казалось голубым, в глазах отражались звезды.

— Не знаю, не знаю, где правда… — Михаил бросил в зеркальную гладь плоский голыш. Тот простегал зеркало тремя крупными стежками. — Может, затем и пишу, что мне вторая правда покоя не дает, выхода требует. Нет, не вторая — моя главная, но в жизни не высказанная. Ведь человек часто и сам не знает, что хочет на самом деле.

— Человек хочет уехать. А что тут еще хотеть? Тут — хана.

— И вот ведь, понимаешь, Таська, тоже не факт, что уехать

хочу! — Его рука взмахнула, словно стегнув кого-то. Лунную дорожку прошил второй голыш. — Хочу славы заграничной, покоя, достатка, признания. Не у этой неграмотной солдатни. У мастеров.

— Тебя обязательно признают, Мишенька.

— Боюсь, не выйдет. Там ведь тоже не медом для нищих эмигрантов намазано.

— Ты, главное, женщину хорошую найди… Чтобы любила и жалела. — Тася зашмыгала носом. Дрогнули и скатились из уголков глаз к вискам слезы.

— Перестань, перестань же! Я тебя не брошу. Если не выйдет — в Москву поеду. Ты там меня и жди. Как подумаю: что ты в этом омуте без меня делать станешь? Одна! Таська! — Михаил схватился за голову, словно пытаясь остановить бег мыслей.

— Найду что! — Тася рассмеялась сквозь слезы, утерла ладонью нос. — Не пропаду! Вот тогда, в начале, ты спросил, что будет, если ты умрешь? Это еще до свадьбы было. А я сказала, что жить без тебя не стану, не смогу. Помнишь? Свет, мол, клином сошелся… Теперь… теперь остыло ведь, Мишенька. Не так болит. Десять почти лет вместе, и только начало все розовое было и обещания всякие… Обманул нас кто-то.

Помолчали, слушая шелест прибоя. Пусто… И в голове и на душе — пусто.

— Миш, а Миш… Звезды, как тогда, над Днепром, помнишь?.. Наши свидетели.

— И в нашу первую ночь за окном стояли — все высыпали. А любопытная луна в окно заглядывала…Что б со мной там ни случилось, ты про меня плохого не думай. Во мне много дурного. Но я не предатель.

— Самое дурное — твой обгоревший нос — красный и лупится. Как тогда, когда на Днепре плавали. — Тася села и приблизила свое лицо к лицу Михаила.

— Темно же…

— А я еще днем заметила и подумала: «Вот такого и помни, Таська. Больше не увидишь».

— Таська… — прошептал он и прижался щекой к ее мокрой щеке. Она сжала его руку. Все, что они друг о друге знали, все упреки, несбывшиеся надежды — все было в одно мгновение молча пережито и прощено.

Утром Михаил смотрел вслед белому пароходу, увозящему Тасю. И не стеснялся слез.

Нет сомнения, что, если бы судьба выпустила Булгакова в чужие края, не устроила бы ему пытку гонениями в СССР, не появились бы на свет ни «Мастер и Маргарита», ни «Театральный

роман», ни «Собачье сердце», ни «Роковые яйца». Бунин и Ахматова, Мережковский и Гиппиус, даже юная Цветаева к 1920 году были сложившимися авторами. А 29-летний Миша еще ничего толком сочинить не успел. Куда вывезла бы его эмигрантская стезя? В ресторанные куплетисты? А значит, оставаться тут и, срывая голос, орать «да здравствует советская власть!»

Часть вторая
Москва в жизни Булгакова

«Квартирный вопрос», который, как известно, всех испортил, стал дм москвичей проблемой номер один. И эту проблему в полной мере испытал на себе писатель. Он, презиравший безбытностъ, внеличностный коллективизм, переносил лишение личного пространства особенно тяжело. Жилище, Дом — принципиальные понятия в мировоззрении Булгакова — основа жизненного благополучия, а значит, благополучия государственного. Он предпочитал массе личность, а вместо замаха на всеобщее и грандиозное призывал к простому, насущно необходимому. «Домашность» в булгаковском миропонимании — необходимое условие нормальной социальности человека. Бездомен, безбытен — люмпен, маргинал, уличный пес. «Дом» для Булгакова — это социально-философские и этические, категории.

Идея широкомасштабной социальной «хирургии», разрушающая основы, жизненного устройства, чужда Булгакову в принципе. Пыльная уютность дома на Андреевском спуске с его кремовыми шторами и теплом изразцовой печи — символ человеческого очага, оплот его личностного достоинства. «Знаменем» булгаковской домашности, мирного быта становится Абажур. Именно попранная власть абажура стала в «Белой гвардии» образным обвинением сбегавшему из города Тальбергу, ломавшему привычный, милый мир турбинского дома и всей попавшей в исторический разлом России.

«Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте — пусть воет вьюга, — ждите, пока к вам придут».

Квартирный вопрос

Дом № 10 на Большой Садовой, ставший знаменитым домом 302-бис в романе «Мастер и Маргарита». Здесь написаны фельетоны, рассказы, репортажи, роман «Белая гвардия», повести «Роковые яйца», «Записки на манжетах», «Дьяволиада» (см. подробно о Доме: Глава третья. Москва героев Булгакова)

В конце 1921 года тридцатилетний Булгаков с женой приехали в растерзанную разрухой Москву. Квартирный вопрос кое-как решился.

Надежда Афанасьевна, любимая сестра Михаила, нашла работу заведующей школой «Золотая рыбка». Миша и Тася перебрались в комнату Земских в бывшем доходном доме № **10 на Большой Садовой.** Здесь после революции было организовано жилищное товарищество. Прежние «чистые» владельцы квартир уехали или были выселены. Большие квартиры прежних жильцов превратились в коммунальную систему — длинный коридор с одной кухней и, разумеется, без ванной. Комнаты заняли новые хозяева — в основном фабричные рабочие, — малограмотные и сильно пьющие. В квартире № 50, куда попал Булгаков, жили еще пять семей. Был среди них коммунист-милиционер с женой и знаменитая Аннушка Горячева, та самая, что разлила масло у трамвайных путей на пути бедолаги Берлиоза (и сожгла в невежестве своем дом Эльпита).

Муж сестры Нади — Андрей Земский, работавший в Академии им. Жуковского, разрешил Михаилу прописаться в его комнате. Но для прописки дело надо было «подмазать», Булгаков понять этого не хотел, и товарищество напористо взялось за выселение нищего, незаконного жильца. Позже, когда Михаил нашел работу в «Рабочей газете», которой заведовала Крупская, то подписал у нее некую бумагу, дающую право на жилплощадь. Таким образом, он с женой стали владельцами комнаты с двумя окнами в знаменитой квартире № 50. Но это произойдет через год с лишним. А пока — незаконное проживание, остатки мебелировки супругов Земских: диван, зеркало, раскладушка, кресло с торчащими пружинами.

Отличалась квартира чрезмерным потреблением алкоголя, ежедневными громкими скандалами с мордобоем и резней.

Начало «московского» периода жизни Булгакова было ознаменовано его работой в Литературном отделе Главполитпросвета при Наркомпросе, или сокращенно — Лито.

«Историку не забыть: В конце 21-го года литературой в Республике занимались три человека: старик (…), молодой (…) и я.

Историку же: В Лито не было ни стульев, ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко: ничего не было» **(«Записки на манжетах»).**

Когда Лито было закрыто и сотрудники его разошлись по домам, унося в качестве окончательного расчета множество коробков со спичками, Булгаков, в поисках пропитания, активно внедряется в московскую «малую» прессу — бесчисленные

периодические издания, вдруг возникавшие и так же внезапно исчезавшие. Он пишет много, неутомимо и неразборчиво, не пренебрегая никаким заработком.

«Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли, подавал прошение в Льнотрест, а однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы».

Пустота в дырявых карманах, смутные надежды на поиски работы и постоянная опасность выселения из жилтоварищества — эти моменты определяли каждодневное настроение, а писать надо было смешное. В слезливом осеннем тумане и в трескучем морозе Булгаков носился по Москве, пытаясь продать в газетных издательствах свои фельетоны и очерки.

Эти годы в жизни Булгакова — апофеоз бесприютности, нищеты, неустроенности.

Город затих, словно вымер. Исчезла публика с улиц и бульваров, забиты железными ставнями и мешками с песком витрины магазинов. Разруха, голод, стужа и злоба разгуливали по опустевшей столице.

«Где я только не был!.. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. И я его находил. Правда, скудное, неверное и зыбкое. Находил его на самых фантастичных и скоротечных, как чахотка, должностях, добывал его странными утлыми способами».

… «Белые дни и драповое пальто. Драп, драп. О, чертова дерюга! Я не могу описать, насколько я мерз. Мерз и бегал. Бегал и мерз».

… «Категорически заявляю, что я не герой. У меня нет этого в натуре. Я человек обыкновенный — рожденный ползать, и, ползая по Москве, я чуть не умер с голоду. Никто кормить меня не желал. Все буржуи заперлись на дверные цепочки и через щель высовывали липовые мандаты и удостоверения».

Ноябрьские холода особенно пронзительны. Топить нечем, за окном ранние, промозглые сумерки. Михаил пишет. На дощатом ящике, покрытом потертой клеенкой, листы, школьная чернильница, исписанные перья, роняющие кляксы.

Вверху листка дата: 17 ноября 21 года. Ровные строки густых, наклоненных вправо букв.

«Очень жаль, что в маленьком письме не могу Вам передать, что сейчас представляет из себя Москва… Идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни. Нужно уметь получать деньги, и этого я добился. Правда, пока

еще в ничтожном масштабе. Но все же в этом месяце мы с Таськой уже кое-что едим, она починила туфли, начинаем покупать дрова и т. д. Таська ищет место продавщицы, что очень трудно, потому что вся Москва еще голая, разутая и торгует эфемерно. Бедной Таське приходится изощряться изо всех сил, чтобы молотить рожь на обухе и готовить из всякой ерунды обеды. Но она молодец! Одним словом, бьемся, как рыба об лед…

Я мечтаю об одном: пережить зиму, не сорваться в декабре, который, надо полагать, будет самым трудным месяцем. Таськина помощь мне не поддается учету»…

Он посмотрел в темное окно. В стекле, едва прикрытым куском разлезшейся занавески, отражалась лампа в газетном абажуре и его лицо — чужое, мрачное. Гася подошла, заглянула через плечо мужа на освещенный листок. Потрепала торчащий вихор на затылке:

— Фельетон заказали?

— Матери пишу в Киев.

— На меня жалуешься?

— Может, скажешь, когда я это делал? — Михаил обернулся, прищурил глаза. Но тут же оттаял, поймал и сжал ее холодную руку, повязавшую ему на шею облезлый, некогда пуховый платок. — Привычки такой не имею!

— Она мне никак киевских ресторанов простить не может. Было дело… Как же мы, Мишенька, шиковали! Котлетку «де-воляй» помнишь? Ткнешь вилочкой, и она «пфф!» — маслом горячим прямо в рожу. — Тася состроила гримасу своему отражению в зеркале и быстро перевела взгляд: — Промерзла совсем. Воду на кухне грею.

— Кипяточек сейчас — в самый раз! Нет, Таська, я тебя хвалю. А если костерю, так жизнь.

Вот пишу: «Таськина помощь мне не поддается учету. Оба мы носимся по Москве в своих пальтишках… Мечтаю добыть Татьяне теплую обувь. У нее ни черта нет, кроме туфель… Мы с Таськой стали хозяйственные. Бережем каждое полено дров. Такова школа жизни».

— К чертям бы послать эту школу! — Тася достала из тряпицы полбуханки черного, отрезала два тонких куска. — Сдохнем, и не дождемся, когда выучимся. Не верю уже, что будет нормальная жизнь.

— Будет. Я такую в себе силу чувствую… — Он усмехнулся. — Не всегда, конечно… Неси кипяток — одна отрада.

2

Пришла Надя забрать из комнаты кой-какие вещи. Огляделась: на стенах театральные афиши, костюм на вешалке, зеленая лампа на ящике (колпак скручен из листа зеленой бумаги с обрывками слов «Глав…ыба»).

— Устроились, по нынешним временам, сносно. Квартирка, правда, жутковатая.

— Ой, скандал за скандалом! — Глаза Таси округлились. — Самогону нажрутся, орут, с ножами бегают, на помощь зовут. Кровищи море, морды расквашены!

— А я их всех в фельетонах описал! Вот, слушайте: «… и в десять с четвертью вечера в коридоре трижды пропел петух…

— Неужели эти мерзавцы напоили петуха? — спросил я, оторвавшись от Твена, у моей несчастной жены.

Но та не успела ответить. Вслед за вступительной петушиной фанфарой начался непрерывный вопль петуха. Затем завыл мужской голос. Но как! Это был непрерывный басовый вой в до-диез душевной боли и отчаяния, предсмертный тяжкий вой…»

Когда чтение завершилось, Тася покачала головой:

— Так ведь не напечатают!

И Надя засомневалась:

— Вроде не советское это дело — пролетариев критиковать.

— А мне более никаких возможностей выживать власть не оставила! — зло хохотнул Миша. — Пошли, сестра, до трамвая чемодан донесу.

Трамвая долго не было. Стояли под фонарем, раскачивающим в порывах резкого ветра конус света, полный снежной мороси. Сверкающий водяной бисер покрывал меховую шапочку Нади и скверное пальтецо Михаила. Он поднял воротник, нахохлился, щурясь на фонарь:

— И вот ведь что интересно, Надь… Среди моей хандры и тоски по прошлому, в этой нелепой обстановке тесноты, в гнусной комнате гнусного дома, у меня бывают взрывы уверенности и силы. И тогда я слышу в себе, как взмывает моя мысль, и верю, что я неимоверно сильнее как писатель всех, кого ни знаю. Глупость, да?

— Ничуть. Это не пустое самомнение, Миша. Ты знаешь, я в тебя всегда верила.

Он замолчал, стиснув зубы:

— Но в таких условиях, как сейчас, я, наверно, пропаду.

— Пропасть ты права не имеешь. Тебе еще столько сделать надо серьезного. Ты свое главное не бросай. Ты же сильный, братишка.

— Как тут бросишь. По ночам пишу «Записки земского врача». Может выйти солидная вещь. Обрабатываю «Недуг». Но

нет времени, нет времени! Вот что больно для меня.

— Наконец-то ползет! — Надя кивнула на выглянувший из-за поворота трамвай. — Давай щеку. И чемодан! Чемодан-то чуть не забыла, раззява.

И снова письмо. Сестре Варе. «Идет большая борьба за существование. Работать приходится не просто, а с остервенением, с утра до вечера, и так каждый без перерыва день. На казенной службе платят туго и с опозданием, и поэтому дальше одним таким местом жить нельзя. Я мечусь по Москве исключительно по газетным делам и получаю жалованье 45 миллионов. Это совсем мало. В Москве считают только на сотни тысяч и миллионы. Черный хлеб стоит 4600 руб., белый 14 000, к вечеру дорожает. Сегодня купил себе на рынке английские ботинки желтые за 4 с половиной лимона. Страшно спешил, так как через неделю они будут стоить 10.

Сейчас узнал — ботинки не английские, а американские и на картонной подошве. Почему пролетариат уничтожил приличные ботинки? Маркс нигде не утверждал, что на ногах нужно всякую сволочь носить.

Самое страшное — квартирный вопрос. Всех уплотняют, деля даже комнаты — идет массовое подселение. Теплая компания нашего жилищного кооператива заседает в комнате налево от ворот. Самогоном и песнями несет оттуда круглосуточно. Грозят нас с Таськой выкинуть. Прочее неописуемо. При всем этом, я одержим писанием, в нем чувствую свою силу».

Раздвоенность мучает Булгакова, а может быть, и спасает. В нем как бы уживаются, часто конфликтуя, два человека. Один — насквозь продуваемый в своем пальтеце, замученный отвращением к убогому быту — керосинкам, пьянству, клопам, грязным дешевым баням — ко всему пролетарскому коммунальному, нищенскому бытию. Другой — углубленный в себя, умудренный пережитым, стойкий Алеша Турбин — умница, патриот, честная душа, не знающая сомнений и трусости. Он же еще оптимист-фельетонист, шагающий сквозь житейскую бурю с легкой усмешкой, неколебимой верой в свои силы.

Но оба они — честны, язвительны и непоправимо одиноки.

Одиночество — истинное ощущение Булгакова, живущего заботами жены. Всей своей человеческой и писательской сутью он стремился не только к признанию, но и к женской влюбленности. В жертвенной, преданной Тасе ни женщину, ни литературного единомышленника тридцатилетний Булгаков не видел.

3

1922 год не принес облегчения. Редакции газетенок, где находил работу Булгаков, стремительно разваливались, не выплатив задолженность ненужным сотрудникам.

«Я до сих пор без места, — записывает Булгаков в дневнике в январе 1922 года. — Обегал всю Москву — нет места. Валенки рассыпались. Питаемся с женой плохо. От этого и писать не хочется. Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем. По три дня сидим без пищи». И далее: «В понедельник я ел картошку с постным маслом и четверть фунта хлеба. Выпил два стакана чая с сахарином. Во вторник ничего не ел, выпил пять стаканов чая. Чай пил, но сахарин кончился».

Фельетоны и очерки доход давали мизерный — только-только не помереть с голоду. Подписывал их Булгаков «М Булл», «Тускарора», «Неизвестный Михаил», «Эмма Б.», пряча за дурацким псевдонимом истинное лицо. Казалось, просвета нет. И вот удача — материалами Булгакова заинтересовалось издательство «Накануне» — выходящая в Берлине на советские деньги эмигрантская «сменовеховская» газета. Газету делали под «либерализм», заманивая литераторов-эмигрантов обратно на Родину. Булгаков пристраивается в «Литературном приложении», которым заправлял «красный граф» А.Н. Толстой. Булгаков печатает там 25 лучших, «непроходных» в России очерков и рассказов — успех вполне ощутим. Из Берлина А.Н. Толстой требует у московской редакции: «Шлите побольше Булгакова». Публикация фельетонов, очерков и «Записок на манжетах» в «Накануне» дала Булгакову приличные гонорары.

Финансовая сторона семьи несколько поправилась, хотя до благополучия еще было далеко. Они уже не голодали и могли покупать дрова. Тася с наслаждением варила супы на кухонной керосинке. Михаил же взялся вывести из состояния полного кризиса свой гардероб. В юности он любил пофорсить. Убожество одежды угнетало его сейчас особо — московский писатель должен выглядеть преуспевающим и успешным. Он запасается пристяжными воротничками к двум сорочкам, которые Тасе приходилось чуть не ежедневно кипятить и крахмалить. Однажды притащил с рынка длинный бараний тулуп. Объявил:

— Вместо пальто! Только носить надо мехом вверх и нараспашку. Вот так.

— Ой, и не знаю… — растерялась Тася, оглядывая мужа. — Конечно, если у вас, писателей, так принято, чтобы без пуговиц и вообще…

— У нас принято быть оригинальным, беззаботным, успешным. Нищие с Тишинки ныне в литературных кругах не котируются.

— Лучше, если как черкес в тулупе?

— Ты можешь предложить что-то иное? Самое простое — съездить за гардеробом в Лондон. Пуговицы уж наверняка будут. Видишь ли, времени нет. — Михаил, как почти всегда теперь в разговоре с женой, начинал злиться, и Тася умолкла, загремела тарелками.

Он вдруг оттаял:

— Где вы, графиня, тулуп увидели-с? Это, к вашему сведению, русский охабень. Мода конца XVII столетия. В летописи впервые упоминается под 1377 годом. Охабень первосортный. В таких у Мейерхольда бояре с колосников валились. Да и к чертям бояр! Во-первых, выторговал этот душегрей за гроши. Во вторых — мерзнуть более не в мочь. А главное — для форсу!

Тулуп, прозванный «дохой», Булгаков носил до тепла, поражая воображение литераторов внешним видом и светскостью манер. Именно таким — старомодно-галантным, уверенным в себе, несколько высокомерным и — неизменно одиноким, он появлялся в литературнобогемных кругах.

Михаил не выводил жену в свет — стеснялся. Ее затрапезного вида, ее зажатости, неумения поддержать литературный разговор, блеснуть суждением. Не такая спутница была нужна ему. А главное, Тася — свой в доску «малый», боевая подруга, не давала ему необходимого, как наркотик, вдохновения. Он легко увлекался, флиртовал, запасаясь куражом для писательского труда — всегда немного актерского, легко гарцующего на грани самоиронии и ошеломляющих откровений.

Тася — свой, домашний человек, вроде заботливой тетушки или сестры. Она стала его поддержкой, спасителем, «палочкой-выручалочкой». Но не стала центром его главной — литературной — жизни. Не стала Музой. Музы не жарят промерзлую картошку на вонючем керогазе, не латают последние жалкие одежки, не зачесывают в кукиш немытые слипшиеся волосы. Музы не знают, что такое отсутствие мыла, горячей воды, обувки к холодам и темные, ввалившиеся от голода глазницы. Музы не блекнут от света и шума дружеской пирушки, не сидят в уголке, когда под лампой идет спор острословов. Не ходят в растоптанных башмаках и не выменивают на толкучке за картошку и муку куски золотой цепочки.

Литературная известность мало-помалу осеняла Михаила светом избранности, открывала доступ в новый круг, где его блестящее чувство юмора, его артистизм и, естественно, сочинения встречались с восторгом. Там он был удачлив, талантлив, смел, находчив. Тасе оставался затравленный неудачник, жаловавшийся на все и всех. Она боролась за него изо

всех сил, доступными ее пониманию средствами, не понимая, что обречена.

4

В январе 1923 года в московском журнале «Россия» выходит 2-я часть **«Записок на манжетах».** 14 января — Булгаков читает повесть на заседании литературного общества «Никитинские субботники», организатором которых являлась Е.Ф. Никитина — литератор и литературный критик. Успех огромен. Дальше — больше. Как-то вернулся вечером озаренный, пахнущий коньяком, с порога сообщил мучившейся мигренью Тасе:

— Таська, а к твоему мужу приходит слава! В издательстве «Недра» взяли **«Дьяволиаду»!**

— Это что ж, мистическое?

— А, да какая тебе разница! Рукопись принята. Но не дают, черти, больше, чем 50 рублей за лист. И денег не будет раньше следующей недели. Повесть дурацкая, ни к черту не годная. Но Вересаеву очень понравилась.

— Писателю? — Тася тяжело оторвала от подушки пульсирующую, как нарыв, голову. Села, прикрыв глаза. Михаил присел рядом и терпеливо, как ребенку, объяснил:

— Викентий Викентиевич Вересаев был врачом. Много писал. Теперь главный редактор «Недр». Я принес ему «Записки молодого врача», он посмотрел на меня и говорит с подковыркой: «А знаете, молодой человек, чтобы писать о врачах, надо самому быть врачом!»

— А я врач со стажем! — Был удивлен, потом прочел «Записки» и еще один роман.

— А что за роман?

— О киевских переворотах. Помнишь? 1919-й! Гам все наши будут выведены.

— И я?

— Ну… — Михаил замялся. — Это ж еще наметки. Я буду дописывать.

— Дописывай. — Тася поплелась на кухню. Она уже знала, что литературные дела Михаила для нее закрыты. Когда писал в морозы этот киевский роман, так она воду горячую носила, чтобы руки ему греть. А теперь спохватился — надо «дописывать»! Черта с два он про нее вспомнит!

Между тем в стране происходили заметные перемены. Название им было НЭП. «Тягостное гангренозное гниение и безудержное стремление к наслаждениям шли рядом». Образ

Москвы 20-х годов в деталях, в настроении, цвете, запахе, красках, шумах блестяще запечатлен Булгаковым в очерках, фельетонах, рассказах, написанных в бодро-насмешливом тоне. **(Фельетоны «Торговый ренессанс», «Москва Краснокаменная», «Столица в блокноте», «Москва 20-х», «Бенефис лорда Керзона самоцветный быто-ремонт» и прочие, рассказы «Неделя просвещения, Спиритический сеанс», «Похождение Чичикова», повесть «Дьяволиада».)**

Зарисовки, истории, впечатления уличные, театральные, бытовые составляют эти насмешливо-оптимистические «халтуры» Булгакова. Сделанные торопливо, живота ради, они, несмотря на это, искрятся блестками юмора, точных наблюдений, отличаются легким дыханием подлинного писательского мастерства. Саркастические интонации по поводу грядущего благоденствия Москвы и Страны Советов вполне отчетливы, их не услышит лишь глухой.

Но и свое «важное» пишет ночами Булгаков, отработав «поденщину». Признается в дневнике: «Не может быть, чтобы голос, тревожащий сейчас меня, не был вещим. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем».

Купленный по дешевке гарнитур салонной мебели, неутоленная жажда уютного «дома», ковров, боязнь ревматизма и восторг от напирающей жажды писательства — пьянящая смесь ощущений человека, на столе которого лежит еще плохо оформившаяся груда листов — романа «Белая гвардия» — пропуска в бессмертие и залога земного благополучия.

5

Одним из наиболее прочных мест работы Булгакова оказалась газета «Гудок», где он занимал должность сотрудника профсоюзного отдела, писал фельетоны и вел колонку на четвертой полосе. Финансового положения должность в «Гудке» не меняла, но тут собралась группа зубастой молодежи, благодаря которой и при участии Булгакова четвертая полоса транспортной газеты получила известность. Юрий Олеша, Илья Ильф. Евгений Петров и другие юные хохмачи превращали рабочий день в эскападу шуток.

Молодой задор, дружное веселье, острая и едкая выдумка правили в одной из комнат **Дворца Труда,** этого гигантского редакционного улья, описанного Ильфом и Петровым в «Золотом теленке».

Молодые коллеги Булгакова, чья ранняя юность совпала с

годами военного коммунизма и гражданской войны, были порядочно неотесанны, грубоваты либо нарочито бравировали навыками литературной богемы.

В Булгакове все — даже недоступный им гипсовотвердый, ослепительно свежий воротничок и тщательно повязанный галстук, не модный, но отлично сшитый костюм, выутюженные в складочку брюки, особенная форма обращения к собеседникам, с подчеркиванием отмершего после революции окончания «с», вроде «извольте-с» или «как вам угодно-с», целованье ручек у дам и почти паркетная церемонность поклона — решительно все выделяло его из их среды. И уж, конечно, его длиннополая меховая шуба, в которой он, полный достоинства, поднимался в редакцию, неизменно держа руки рукав в рукав.

В мае 1923 года Булгаков записывает в дневнике: «Из Берлина приехал граф Алексей Толстой. Держит себя распущенно и нагловато. Много пьет».

А.Н. Толстой с группой «Накануне» вернулся на родину, дабы, как печаталось в «Известиях» с самым благосклонным комментарием, «вколотить свой собственный гвоздик в истрепанный бурями русский корабль».

«Приехал сораспинаться со своим народом», азартно хохоча, сообщал он в кулуарах. Литературная жизнь Москвы обрела стержень — колоритная фигура «красного графа» притягивала всех.

Булгакову, знакомому с Толстым, намекнули: неплохо бы устроить прием в честь именитого возвращенца. Ведь именно он похвально отзывался о материалах молодого, неизвестного писателя, заложив, в сущности, фундамент его известности.

Друзья Булгакова Каморские — Петр и Зинаида, жившие в хорошей квартире в центре Москвы (Ул. **Герцена, 7, стр. 3),** предложили сделать прием на их вполне пригодной жилплощади. С Зиной Михаил флиртовал и даже прославил ее в фельетоне «Москва 20-х» в подглавке «Вопрос о жилище».

«Зина чудесно устроилась. Каким-то образом в гуще Москвы не квартира, а бонбоньерка в три комнаты. Ванна, телефон, муж. Манюша готовит котлеты на газовой плите, а у Манюши еще отдельная комнатка. Ах, Зина, Зина! Не будь ты уже замужем, я бы женился на тебе, как бог свят!..»

День приема был назначен, приглашения разосланы. На кухне Манюша, Тася и Зина колдовали над кучей снеди, закупленной на широкую ногу.

Но вот беда — в день ответственного мероприятия у Зины поднялась температура. Встать с постели она не может даже ради графа Толстого и молящего взгляда Михаила. Решили —

хозяйкой вечера быть Тасе.

Тася, одетая в Зинино лучшее платье, с уложенными в парикмахерской косыми волнами волосами, освеженная косметическими премудростями все той же волшебницы Зины, сидела в кресле, сложив на коленях холодеющие от волнения руки, и ждала звонка в дверь. Многих она знала: Слезкин, Катаев, Пильняк, Зозуля — чего дрожать-то? Ага, дома чай подать одно, но здесь — дело совсем другое… Хоть и похихикивает за спиной Толстого язвительная литературная молодежь, но граф все же. Из Европы только что. «Пронеси, Господи!»

Залился звонок. Пришли! В передней послышался громкий барственный голос, шарканье ног, звуки лобзаний, женские смешки. В комнату вошел крупный, полноватый господин в сшитом первоклассным парижским портным коричневом костюме. Белье накрахмаленное, лакированные туфли, аметистовые запонки. Чист, бел, свеж, ясен и прост был гость. (Отдельные моменты этого торжества вошли в **«Театральный роман»** Булгакова.)

— Моя супруга, Татьяна Николаевна, — представил жену Михаил.

— Прелестна! Чертовски, знаете ли, прелестна! — граф приложился к Тасиной дрожащей руке.

— Наслышана! — громче нужного отрапортовала она и едва не сделала книксен. — Много слышала о вас от Михаила.

— Весьма, весьма интересно! Что ж, если не секрет? — Большое выбритое лицо, распятое улыбкой, склонилось к Тасе. Глаза насмешливо щурились.

— Что граф Алексей Николаевич Толстой будет строить советскую литературу, — одним духом выпалила Тася.

— Строить! Ха! Не строить, золотце вы мое, а возглавлять. — Он поднял палец. — Это, заметьте, большая разница. Да и не Толстой я нынче, — он обернулся к толпящимся в дверях и торжественно объявил: — А советский рабочий — Панас Дерьмов! Прошу любить и жаловать, — и снова к Тасе: — Так что еще муж говорил-то?

Алексей Николаевич громко захохотал, а Тасю бросило в жар.

Она спаслась бегством на кухню и, рухнув на табурет, долго обмахивала крепдешиновым цветастым подолом зардевшееся лицо.

Потом было шумно, людно, поплыла над столом лаковая кулебяка, лилось вино, звучали тосты… Говорили наперебой, молчали только, когда говорил граф.

— Надо идти, стол возглавлять, «хозяюшка»! — позвал Тасю Каморский.

Тася поднялась и ойкнула, проведя рукой по платью сзади. Раздавленные помидоры в оставленном на табурете блюде объяснили катастрофу.

— Села… П-п-рямо в блюдо… — от волнения к ней вернулось заикание.

— А-ах! — досадливо махнул рукой Каморский и поспешил в столовую.

Пробираясь в ванную, чтобы застирать чужое платье, хорошо еще — сильно цветастое, пятен не будет заметно, — Тася услышала из кабинета голоса — важный, наставительно-подтрунивающий, принадлежавший Толстому, и сдержанно-насмешливый — Мишин.

— Жен менять надо, батенька. Писателю, по крайней мере, не меньше трех раз. По себе знаю. Говорят, что первая жена от Бога, вторая от людей, а третья от — дьявола. А как в нашем колдовском деле без дьявола? Каюк — уныние и застой. Иначе и не писатель ты, а говно-щелкопер. Вот некоторые слишком задираются: «сам черт нам не брат!» Ой, милые, — брат! Еще какой брат!

Сладковатый трубочный дым витал между портьерами, забренчало пианино.

Тася не стала слушать, что ответил Михаил. И так все ясно — завалила она «роль» жены литератора, хозяйки богатого дома. Не удалась репетиция.

Переодевшись в спальне уснувшей Зои в свое платье, она скромно сидела на кухне, складывая стопками приносимую разгоряченной Маняшей грязную посуду, и, между делом, пропускала по стопочке водки. Пусть голова раскалывается — лишь бы не думать. После перемыла все в четыре руки с прислугой и уже шагу ступить не могла — свалилась бревном. Как Михаил дотащил ее на пятый этаж домой — не помнила.

Любовь Белозерская

1

Москва только что отпраздновала встречу Нового, 1924 года, червонец держался крепко, способствуя росту оптимизма. Вернувшаяся из эмиграции группа литераторов во главе с Толстым устраивала банкет в пышном особняке **в Денежном переулке.**

Был приглашен Булгаков, как один из самых перспективных авторов.

…В нарядном зале, с накрытыми а-ля фуршет столами, слоился голубой дым и стоял рокот оживленных голосов. Из тесного кружка, сплотившегося вокруг Алексея Толстого, раздавался смачный хохот. Женщины были отборные — богемного сорта — непринужденные, ароматные, в коротких платьях и длинных бусах.

Литератор Василевский, писавший под псевдонимом Не-Буква, присутствовал с только что вывезенной из Германии женой — 26-летней Любовью Белозерской. Все знали о затеянном супругами разводе, что позволяло очаровательной Любочке держаться независимо. Хорошенькая, легкая, с балетной выправкой, в изящном парижском платье, она рассыпчато смеялась, переходя от группы к группе.

— Познакомьте меня с Булгаковым, — попросила она Юрия Слезкина. — Он произвел шум в «Накануне» «Записками на манжетах» и фельетонами. И, знаете, это очень одинокий человек.

— У Михаила Афанасьевича чудесная жена.

— Ах, не говорите, не надо! Меня не проведешь. По его очеркам и фельетонам совершенно ясно: у автора совершенно нет личной жизни.

Слезкин представил Белозерскую Булгакову.

Она увидела человека лет 80–32 с гладко зачесанными светлыми волосами и голубыми глазами. Черты его лица — неправильные, с глубоко вырезанными ноздрями, показались ей привлекательными: «лицо больших возможностей». Глухая черная толстовка без пояса выглядела, по мнению Белозерской, слегка комичной, как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые она тут же, мило смеясь, окрестила «цыплячьими».

— Анкеты к чертям. Это мое любопытство. Хотя, кажется, я мог бы составить вашу характеристику сам. Присядем? — Они устроились на банкетках, стоящих вдоль стен.

— И какую же? — Любочка закурила.

— Умна, насмешлива, наблюдательна, образованна… — Он помедлил, косо глядя на улыбчивый профиль. — Соблазнительна и очаровательна.

— Добавлю несущественные детали. — Протокольным голосом Любовь продолжила: — Родилась в интеллигентной семье. Отец окончил Московский университет, знал четырнадцать языков, занимался дипломатической деятельностью. Мама училась в Москве в институте благородных девиц. Получила хорошее музыкальное образование. *Я* — младшая в семье. Женщина бальзаковского возраста — скоро 27 стукнет. Правда, успела многое. Закончила знаменитую Демидовскую гимназию с серебряной медалью. Во время войны пошла в сестры

милосердия, ухаживала за ранеными. Вращалась в художественных кругах, вышла замуж за известного журналиста Илью Макаровича Василевского. Тут похвастаться, увы, нечем! Я не терплю семейной тирании, но муж оказался страшно ревнив. Хотя сам позволял себе весьма многое. Ну… бежали от красных, попали в Константинополь, затем Париж, Берлин. Там я пробовала выступать на сцене, мой портрет в костюме из страусиных перьев выставлен на витрине известной парижской фотомастерской. Конечно же занималась литературой — французский и английский я знаю очень прилично. — Любовь вздохнула и замолкла, как бы размышляя, стоит ли идти на откровенность.

— И что же не сложилось?

— В семье или в эмиграции? Ах, и то и другое оказалось вовсе не тем, что ожидаешь. Европа нас не баловала. А муж в Германии почти откровенно завел новую любовницу. Я поставила вопрос о разводе. Теперь вот вернулась, и все надо строить заново.

— У вас такие знаменитые знакомые. Вы сможете устроить жизнь, достойную вас. — Михаил смотрел на носки своих ботинок, казавшихся теперь ему невыносимо безвкусными.

Люба в раздумье поиграла длинными бусами.

— Ну, это, полагаю, иллюзии. Вот сижу, смеюсь и думаю: а ночевать-то мне негде.

— Ко мне пойдемте! Я на раскладушку лягу. И Таска возражать не станет.

Люба не отказалась, лишь заметила:

— Не хотелось бы стеснять. Да куда деваться.

…Подвязав застиранный халатик, Тася, с босыми ногами, стояла в центре комнаты и круглыми глазами смотрела на явившуюся с мужем нарядную даму.

— Тася, это Любовь Евгеньевна Белозерская. Только что из Парижа. У нее такое положение, хоть травись. Ей лучше переночевать у нас.

— Лучше??! — Тася отступила, белея от гнева. — Кому это лучше? Мне?! Мне никаких твоих женщин из Парижа тут не надо! — Она задрожала. Дрожали плечи, губы, протянутая вперед рука с указательным пальцем. — Особенно таких. И знать не хочу! — Рухнула на диван, отвернулась и накрылась с головой. Слышала, как хлопнула входная дверь — ушли.

2

Белозерская поселилась в квартире у знакомых, где временно пустовала комната. Оказалось, совсем недалеко от Большой Садовой. Начались регулярные встречи с Булгаковым, то у знакомых, то **на Патриарших прудах.**

Булгакову нравилось гулять с Любой. На ее темноволосой головке чуть набок сидела нездешнего изящества фетровая шляпка, и ноги в ботиках с каблучками были, ох, как хороши! Балетная осанка, всегда готовый пролиться журчащий смех. Прохожие оглядывались и провожали ее взглядом — парижская штучка! Михаил чинно вел даму под руку. Смахнул снег, расстелил на скамейке под обметанными инеем липами полу своей роскошной дохи.

— Извольте-с! Садитесь и рассказывайте, рассказывайте про Париж. Нет, лучше про Константинополь… — Михаил рассмеялся. — Да что пожелаете!

— Ну что вы, Миша, жадничаете, все сразу хотите знать, словно я завтра отбываю.

— Вы меня пугаете: мы что, встретились последний раз?

— Полагаю, мне теперь Москва надолго предписана.

— Хотелось бы, очень даже хотелось. — Он сжал ее руку в лайковой перчатке и посмотрел в глаза. Люба поняла значение этого взгляда, озарилась тайным торжеством, усмехнулась:

— И Москва, и литераторы.

— Вы, должно быть, очень хорошую литературу чувствуете.

— Конечно, раз вас разглядела. — Она заглянула в совсем близкие голубые глаза. — Прочтите что-то из нового.

— Вам, правда, интересно? Только на память не помню. Вот, к машинистке вез несколько страниц. — Он достал из-за пазухи сложенные страницы. — В самом деле, станете слушать тут, на бульваре? На нас же будут оборачиваться. Еще и арестуют за милую душу!

— Если не очень станете входить в роль, не арестуют. Хотя, если честно, мне ваши сочинения не кажутся уж очень хвалебными в адрес новой власти. Скорее, наоборот.

— Именно! Именно — наоборот. Вот новое, еще недописанное. «Яйца профессора Персикова».

— Это… — Она изобразила смущение. — Это прилично?

— Как понять.

— Разберемся. Только… — Любаша виновато улыбнулась. — Продрогла европейская птичка, отвыкла от российских зим. — Она поднялась.

Михаил встал, распахнул полы дохи и прижал к себе ее тоненькое, легкое тело. Шепнул в ароматный висок:

— А знаешь, зимы у нас никогда не будет. Будет

нескончаемый май!

3

Булгаков уверял Татьяну, что никогда от нее не уйдет, но предупреждал: «Если встретишь меня на улице с дамой, я сделаю вид, что с тобой не знаком». Она знала, что муж активно флиртует с поклонницами. Но на этот раз, похоже, дело серьезное. Тася боялась начинать разговор о Белозерской.

— Ты все пропадаешь с этой, что в шляпках?

— У нее есть имя… И все обстоит очень серьезно. Мы с Любой решили пожениться. Она удивительная женщина. Не мыслю без нее жизни, — выпалил Михаил все сразу.

— Я, выходит, мешаю. — Тася закрыла фартуком мокрое, злое лицо. — Меня выкинуть можно. Поматросил и забросил. Не нужна больше. У тебя теперь другая жизнь.

— Да, другая. Пойми, наконец, я литератор, и моя жена должна разделять мои интересы. Соответствовать образу жизни… Не обижайся, пожалуйста…Ты…

— Что я? Я не интересуюсь литературой, я обожаю толкаться на рынках. Я вместо духов покупаю тебе еду. У меня уже и надеть нечего. Серенькая оборванная мышка. А Белозерская приехала из-за границы, — наряды, духи, рассказы о Париже… Тебе того и нужно.

— Нужно! Не скрываю — нужно! Я ожил, понимаешь — ожил! — Он вскинул голову, уверенный в своей правоте. Тася развернулась и отвесила звучную пощечину.

— Да, ты умеешь ставить точки. — Схватив доху, Михаил выбежал из комнаты. В коридоре громыхнула входная дверь.

В апреле 1924 года Михаил и Татьяна развелись.

Первая на развод брата отреагировала Надя. От нее пришла телеграмма: «Ты вечно будешь виноват перед Тасей». Друзья — Каморские и Кисельгофы — приняли Белозерскую в штыки, категорически заявили Михаилу, чтобы к ним он с ней не являлся.

4

Короткое проживание с Любовью Белозерской у сестры Булгакова Надежды в здании бывшей гимназии (ул. Герцена, дом 46).

«Вчера получено известие, что в экипаж Калинина ударила

молния. Кучер едва жив, Калинин совершенно невредим… Лавочник Ярославцев выпустил, наконец, свой альманах «Возрождение», в котором помещена первая часть «Записок на манжетах», сильно искаженная цензурой.

На днях в Москве появились совершенно голые люди с повязками через плечо «Долой стыд». Влезали в трамвай. Трамвай остановили, публика возмущалась….»

— Миш, ну что за ерунду ты там пишешь! Смотри, сирень расцвела — дворик такой милый, прежний, даже урна дореволюционная за углом прячется. И липы, и ласковая женская рука… — Люба прильнула к плечу Михаила. Старичок с шахматным журналом, сидевший на краю скамейки, демонстративно отвернулся.

— С хладнокровием летописца фиксирую приметы времени. — Михаил снова застрочил в записной книжке, читая дикторским голосом написанное:

— В Москве знаменательное событие — выпустили 30-градусную водку, которую публика с полным основанием назвала «рыковкой», отличается она от царской водки тем, что на 10 градусов слабее, хуже по вкусу и в четыре раза дороже. Бутылка стоит 1 руб. 75 коп.

— А вот это правильно заметили, молодой человек!

Об этом безобразии везде писать надо! Не для того революцию, понимаете ли, делали. Хм… То есть, не для того, чтобы водку хлестать. — Старик поднялся и, опасливо оборачиваясь, быстро засеменил к подъезду деревянного дома, рядом с которым белела заветная вывеска: «ЗАГС на первом этаже. В случаях смерти ногами до 9 утра не стучать! Перерыв брачующихся с 13 до 14 часов».

— А вдруг у этого шахматного гриба имеется свободная комната? — С тоской проводила взглядом старика Люба. — А когда это ты «рыковку» дегустировал?

— Писатель должен всегда быть на передовой идеологического фронта. Ты б лучше к событию готовилась — девичество свое оплакивала. А то гляди — заштампуют нас сейчас — поздно будет поворот давать.

— Ох, давно уж опоздала, Мишенька, — па край света за тобой босая пойду. — Она скинула босоножки на каблучках и с выражением муки потерла вздувшийся волдырь. — Вся в мозолях. Чулки для торжественного дня приберегала, а то все так шлепала. И что у них перерыв такой длинный?

Они зарегистрировались в **ЗАГСе в Глазовском переулке.** У двери стояло ведро и швабра, но вымести мусор еще не успели, вид у помещения за железной решеткой был не праздничный.

Опухшая от слез гражданочка в свежем перманенте извлекла из зеленого сейфа печать и, дохнув на нее, с размаха припечатала паспортный бланк. Свершилось.

Вышли на пыльную московскую улицу, держась за руки. Михаил исхитрился вырвать из близлежащего палисадника пучок скудной зелени. Преклонив колено, объявил новобрачной:

— Отныне ваша неземная красота, Любовь, будет осыпана розами!

— Откедова тут розам взяться? Ты ж, милок, глаза разуй! Ноготок самый сорняковый выдрал и женщине суёшь! — буркнула древняя старушенция. Не без зависти зыркнула на счастливую молодуху — нарядную, здоровую, улыбка во всю пасть. У таких всегда все есть, бодыли розанами расцветают и дом — полная чаша. И зашаркала мимо, бережно неся бидончик с маслом — одна из неистребимой армии Аннушек Горячевых, так трагически повлиявших на судьбу несчастного Берлиоза.

А у этой молодухи как раз дома не было. Была лишь вера: не сегодня завтра станет ее «иванушка» писательским царевичем.

Решительно набычившись, Михаил повел жену к сестре Наде — завоевывать жизненное пространство.

— Надежда Афанасьевна, позвольте-с представить, Любовь Евгеньевна, моя законная супруга. Только что сочетались браком. — Молодожены стояли в кабинете директора детского сада «Золотая рыбка» Надежды Булгаковой — молодой, светло-русой, с приятным открытым лицом над белым вязаным воротничком синего платья — и счастливо улыбались. — Ты сейчас мне ничего не говори, Надя, мне известно твое отношение к Тасе. С Таськой мы остались друзьями. А Любу я люблю. Полный ажур. Один моментик подкачал: квартирный вопрос. Если ты не приютишь нас, будем спать во дворе на скамейке под твоими окнами. И жалобно выть, оплакивая жестокость педработников, — выпалил Михаил, не давая сестре вставить слова. Та не сумела подавить вздох, но новобрачная в цветастом заграничном платье и туфельках на каблуках украдкой смахнула слезу.

— Что тут поделаешь… — смилостивилась директорша. — Жизнь — сложная штука. Извините за банальность… Устроимся как-нибудь. Признаюсь — самим тесновато. Но выть ночами у школы я во всяком случае родному брату не позволю.

Надежда жила на антресолях школьного дома с мужем и маленькой дочкой, там же с мужем поселилась сестра Вера и сестра мужа Веры Катя, в общем — Терем-Теремок получился.

— Здесь у нас полна коробочка, скоро еще сестра Леля приедет.

— Вот и будет настоящий крепкий коллектив. — Михаил нежно поцеловал сестру в щеку. — Ты ж все время мечтала о воссоединении семьи. Ну, хоть какие-то обломки причалили к твоему борту, капитан ты наш.

Надя обратила внимание, что настроение брата на подъеме, что кокетливая женщина, недавно вернувшаяся из эмиграции, притягивает его горящий мужской взгляд, который так давно не останавливался на Тасе.

Может, оно и к лучшему, решила она. Мишке-то всего 33.

Стояло лето, высокие окна в учительской даже ночью были открыты настежь — в темную заросль кустов. Над дерматиновым диваном, где выделили место новобрачным, висел портрет бородатого деятеля педагогики, явно не одобрявшего того, что происходило на диване.

В конце концов, простыня вместе с Любой соскользнула на пол, а за ней, прихватив подушку, последовал Михаил. Обнялись крепенько и расхохотались, потирая ушибы.

— Ты что же это, от меня сбежать хотела?

— Ну не могу я, когда он на меня смотрит! — Люба кивнула на портрет сурового старца.

— Это Ушинский — серьезнейший моралист. Ты думаешь, что ему приходилось когда-либо видеть здесь, в учительской, нечто подобное? Да и вообще… Возможно, никогда-никогда сей славный муж не пал жертвой плотского искушения.

— Бедняга! Пропустил в жизни самое интересное. Предлагаю спать на полу, только коврик подтянем…

…Общительная, веселая Любовь Евгеньевна всем в «теремке» понравилась, к тому ж она оказалась вовсе не белоручкой — ловко помогала по хозяйству, а к приезду Лели сшила из ситцевых лоскутов симпатичный абажур, который повесили над обеденным столом. Надя прозвала изделие в модной тогда манере «смычкой города с деревней».

«Чертова баба затопила меня, как пушку в болоте. Но один без нее уже не мыслюсь. Видно, привык» — запишет Михаил в дневнике, дивясь своему вновь пробудившемуся мужскому ухарству.

Причина его опьяненно-радостного состояния была еще и в том, что победа пришла на самом главном для повышения самочувствия направлении — в делах писательских. В 1925 году в журнале «Россия» (все еще по недосмотру цензуры) вышли две части романа **«Белая гвардия».** Та самая «важная книга», переполнявшая все его существо с киевской зимы 1919 года, писавшаяся морозными ночами в «нехорошей» квартире № 50, книга, не дававшая покоя, жившая и росшая внутри — залог

признания, веры в себя, в свой дар, — напечатана! Ее смогут читать все… Как от этого не свихнуться, не заплясать на радостях прямо на мостовой, не дурить, словно мальчишка? (Журнал «Россия» закроется, не успев опубликовать третью часть романа. Лишь в конце 20-х годов в Париже будет опубликован полный текст. В Москве он выйдет «несколько» позже, в 1966 году.)

5

Прошелся по Москве, заглянул в книжную лавку: совершенно невероятно — роман продается! Его должны прочитать все Булгаковы, и конечно же Таська! Михаил навещал бывшую жену, помогал ей деньгами и продуктами. Однажды, в наивном неведении, скорее похожем на изуверство, он принес ей в подарок журнал. Тася развернула листы и сразу наткнулась на посвящение Любови Белозерской. Не могла поверить своим глазам, и ярость, ослепляющая ярость окатила ее, сжала горло, не давая вздохнуть. Усилием воли Тася опустилась на табурет, закрыла глаза.

— Ей, ей, выходит, посвятил. А разве — честно! Ты же самый честный у нас, Миша. А верно ли рассудил? Скажи, верно?! — Вскочив, Тася вгляделась в лицо Михаила. — Э го она с тобой в Киеве от Петлюры спасалась? Она по аптекам за морфием бегала и потом все претерпела, чтобы ты вылечился? Она от тифа выхаживала? Она здесь зимой воду горячую носила, чтоб ты руки грел и писать мог? Она? — Тася кричала так громко, что в стену начали барабанить соседи.

— Люба меня попросила. Попросила посвятить роман ей. Я чужому человеку не могу отказать, а своему — могу, — промямлил, отводя взгляд, Миша.

В глазах Таси потемнело. Как у него язык повернулся! Как рука не отнялась — посвящение «чужому человеку» писать? И теперь принес ей полюбоваться?! Не просто бросил жену, но еще и растоптал, изгадил все, что было. Размахнувшись что было сил, она швырнула журнал в Михаила.

— Вот она у тебя какая — вечная и верная любовь!

Неловко вышло, не рассчитал, плохо разбирался писатель Булгаков в женской психологии. Начались читки нового романа в кружках любителей словесности, у близких знакомых и друзей. Читал Булгаков отменно, лучшего профессионала для озвучивания его текста было бы трудно найти. Он проигрывал все реплики, оттенки настроения и ничуть не актерствовал, не пережимал.

После чтения в кружке у Юрия Слезкина раздались

аплодисменты, а сам Юрий бросился автору на шею. Искреннее удивление, чистая слеза восторга — редкие качества у пораженных бациллой зависти литераторов.

— Ну, ты гигант! Гений, Мишка, гений! — Юрий, блестя повлажневшими черными глазами, расцеловал счастливого автора в обе зардевшиеся щеки. — Совсем другой писатель — сильный, глубокий! Откуда такой слог взялся, манера… Будущее у тебя, думаю, огромное! Заходи ко мне — поговорим.

Михаил решил зайти к Юрию Слезкину с Любой — они же были давно знакомы.

Булгаков зашел к Слезкину с Любой.

— Здравствуйте, Юрий, не рады? — Люба подставила щеку для поцелуя и протянула букетик. — Это твоей красавице жене.

— Привет… — Юрий, державший в руках пальто, не улыбнулся гостям. — Уж извините, принять не могу. Жена с сыном ждут меня в парке, к ушному доктору собрались.

Они вышли вместе и попрощались холодно. Михаил, недоумевавший по поводу такого поведения друга, заехал позже и вызвал его на откровенный разговор.

— Скажи честно, Юра, ведь ты нарочно из дома ушел. Мы с Любой поняли.

— А что еще поняли?

— Что не хочешь видеть кого-то из нас.

— Не хочу видеть вас вместе. Это понятно? Твоя жена — Тася. Мы с Ириной другой не знаем.

— Была Тася, стала Люба.

— Так далеко зашло?

— А в чем, собственно, дело? Я первый мужчина, который, прожив с одной женой 11 лет, женился на другой женщине?

— Выходит, необоримое взаимное чувство… — Юрий недобро усмехнулся. — И необратимая глупость.

— Если так… — Михаил поднялся. — Ну, извини, нам больше видеться не стоит.

— Миша… — Юрий поймал его за рукав, вернул на место. — Я думаю, мы друзья. А друг имеет право… Имеет право быть честным даже в весьма щепетильных обстоятельствах. Что ты знаешь о Белозерской?

— Решительно все. Вот уже три месяца, как мы впились друг в друга, словно встретились после долгой разлуки… Она для меня — все.

— Про Есенина, про Бальмонта рассказывала? Как он на заре приходил к ней стихи читать… Про танцы в перьях в парижском кафешантане?

— Рассказывала… Что ж в этом дурного?

— Слушай, Миш… Это практичная, много повидавшая женщина. Ее Не-Буква притащился с ней из Берлина чисто формально — она в Германии оставила свою любовь — сама мне говорила. Неужели ты не видишь, что она приглядывается к мужчинам, подыскивая следующего «спутника жизни», желательно, из известных литераторов.

— Спасибо за комплимент насчет «известного». Но в чем вина Любы? Все мы находимся в постоянных поисках лучшего.

— Вначале она с Юркой Потехиным начала крутить, потом ко мне подъезжала с этим Бальмонтом и прочими парижскими выступлениями в перьях. Но у меня жена и Сашка — семья, которая мне очень дорога. Меня ахами да вздохами не пробьешь. А тут ты подвернулся. Влюбчивый такой — сразу жениться! Будь счастлив, если выйдет, но знай: ко мне в дом с новой женой не приходи.

Михаил побагровел, голос перешел на крик:

— Найдется, к кому нам ходить! На гениальном писателе Слезкине свет клином не сошелся.

С тех пор в отношениях Булгакова с Юрием Слезкиным была поставлена точка.

Глава третья. Голубятня

Жизнь «на Голубятне» во флигельке во дворе № 9 по Обухову (ныне Чистому) переулку. Здесь написаны «Дни Турбиных», фантастическая повесть «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Дьяволиада», комедии «Зойкина квартира», «Багровый остров», репортажи, рассказы, фельетоны. Обыск, изъятие дневников и «Собачьего сердца»

1

Зимой удалось, наконец, снять одну комнату в большой, перестроенной квартире «бывших», населенной живописными типами и новым полунищим людом.

В длинном коридоре на столах пыхтели керосинки, в комнате имелась печь, которую топил Михаил.

Жилище свое, многонаселенное, неспокойное, они прозвали Голубятней — все же второй этаж, и перенаселение явное, права птичьи.

Однажды на Голубятне появились двое — молодой и постарше. Оба оказались люди приличные, не прощелыги какие-то и не сыскари — сотрудники Вахтанговского театра. Тот, что постарше, в толстовке — режиссер Алексей Дмитриевич Попов оглядел скудную обстановку, прислушался.

Из коридора слышались трагические интонации нескончаемого диалога:

— Дурно спала всю ночь! Глаз не сомкнула: извольте радоваться — у меня опять серебряная ложка пропала! Разве при Государе Императоре нечто подобное могло случиться в приличном доме…

— Приличный дом! Публичный — какая разница! — гаркнул зычный голос. — А если ты, старая калоша, смеешь заявлять, что я твои поганые ложки тырю, то засунь их себе… Вон мою можешь еще железную зацапать — для такой крали не жалко! Подашь, когда императрица на чай заедет!

В коридоре что-то зазвенело, послышались рыдания.

— Возможно, нужна помощь? — двинулся к двери Попов.

— Лучше присаживайтесь, расскажите, с какой нуждой посетили наше скромное жилище.

— Славненько устроились. В самой гуще жизни. Тсс! — Он подкрался к двери в коридор, приоткрыл. Из комнаты бывшей фрейлины доносился громкий шепот — дамы изъяснялись по-французски:

— Эти постоянные инциденты со столовым серебром сведут меня с ума……императрица беспокоится о моем здоровье не напрасно…

— Любаня, укроти старушек. — Михаил закрыл дверь. — Говорю для их же пользы. Напялят шляпы из фрейлинского гардероба и полагают, что это шапка-невидимка.

— У нас в квартире проживает весьма живописный контингент, — закинув ногу на ногу, объяснила Люба гостям, — включая нас, разумеется.

— Об этом и речь! — молодой брюнет (актер В.В. Куза) оживился. — Мы читали произведения товарища Булгакова. Очень с большим юмором написано. А нашему театру нужна комедия из нового быта. Вот, к примеру, как у вас тут, если здесь еще рабочий или ударник труда проживает — на них положительный акцент поставить. Социального героя, так сказать, вывести.

— Ударника, не взыщите, нет. И социального героя я вам обещать не могу, поскольку таковых не видал. Не вижу — и все! Вот беда-то в чем писательская! — пожаловался Михаил весьма натурально. — Но действие захватывающее организовать можно

— с криминальным элементом, с лирикой.

…В тот же вечер было договорено, что таковая пьеса, в кратчайший срок будет написана и передана театру. Мало того — аванс может быть получен в ближайшие дни по предоставлении части текста.

— Ау меня уже сюжетец есть! — протянул Михаил жене газету «Красная звезда», после того как гости ушли. — Читай, читай…

— «Милиция раскрыла карточный притон, действующий под видом пошивочной мастерской в квартире некой москвички — Зинаиды Буяльской».

— Остальное совсем просто: оживляем этот пейзаж пошлейшими, живописнейшими типами, вводим лирическую струю и — под гром и молнии правосудия ра-зо-бла-ча-ем! Чего тянуть — сажусь выполнять заказ. Запомни: ничего плохого в заказе не вижу. Верди «Аиду» совсем недурственно написал, хоть и по заказу. «К берегам священным Нила…» И Суэцкому каналу это репутацию не подмочило.

….Комедия под названием «Зойкина квартира» была поставлена Поповым в 1926 году в блестящем составе. Роль Зойки сыграла Мансурова, аферистом Аметистовым стал Рубен Симонов. Публика валила в театр валом, но критика брезгливо фыркала: «Все персонажи отри-дательные — вырожденцы типичные. Злобное очернительство на сцене достойного театра». Позже, когда Булгаков попадет в опалу, режиссер отречется от своей постановки. Но пока — это была победа, и знакомые щедро получали от автора контрамарки на идущий с аншлагами спектакль.

В октябре 1925 повесть под названием **«Роковые яйца»** была отдана в издательство «Недра» и вскоре вышла в свет в шестом номере альманаха.

Никого не удивляло пока, что **«Дьяволиада»** и **«Роковые яйца»** были опубликованы. В годы распоясавшегося НЭПа цензура еще не успела окрепнуть на отлове антисоветчины. Многое дозволялось восставшим из пепла «бывшим» и новым нэпманам. Потом цензура спохватится: написал-то Булгаков полную «идеологическую диверсию»! Мало того, что в его поклепе глупые совслужащие и ударники труда перепутали куриные яйца с яйцами гадов. Мало того, что полчища гадов, идущие на Москву, слишком смахивают на революционные массы, уничтожившие Россию. Так еще дана в глумливых тонах и совсем уже веселенькая картина: ползучие монстры пожирают советских руководителей и даже сотрудников ОГПУ!

2

— Нет, ты вовсе никакой не Михаил… — Люба растерянно опустилась на табурет перед появившимся в дверях субъектом: громила в лохматой дохе и ушастой шапке прижимает к груди охапку дров, а в голубом глазу прожженного интеллигента посверкивает монокль! К тому же, если приглядеться, — в распахе немыслимого свалявшегося меха белел крахмальный воротничок с черной «бабочкой».

— Угадала, красивая: никакой не Михаил. — Он с грохотом бросил дрова у печки. — На самом деле — Мака.

— Как, как?

— Мака. В детстве у меня была книжка про злую орангутаниху, которая обзавелась мальцами — Микой, Макой и Микухой.

— Отлично, утверждено — Мака. А меня как величать?

— О, у тебя тысячи имен, и все самые необыкновенные: Любан… Любимчик, Любомудр, например. А мой потасканный дерматиновый чемоданишко — отныне «щенок».

Каждое утро, подхватив «щенка», Михаил уходил в «Гудок».

Вот там молодежный коллектив хохмачей, из которых самым «старым» был Булгаков, давал себе волю: Ильф, Петров, Олеша в ансамбле с приходящими юмористами умели устроить из работы праздник, восполняя недостающие в скудном пайке калории витаминизированным смехом.

— Любан, чтиво принес! — Вернувшись со службы, Михаил вытряхивал на пол кипы читательских писем из растолстевшего «щенка». — Пока я щи похлебаю, изучай переписку. Надо ответик мощный сочинить.

— Мак, — Люба принесла из кухни горячую кастрюльку, распространявшую аромат кислой капусты. — Вот гляжу на тебя — и словно в Виндзорском дворце ужинаю, аж обмираю: английский лорд или наш из «бывших» на пустые кислые щи соблазнился!

— Не на щи, а на тебя. Ну что такое на самом деле все эти хохмочки: доха, крахмальный воротничок, монокль на шнурке? Брачное оперение самца. Женщину нужно постоянно изумлять. Коллег-писателей, кстати, тоже. Они поговаривают, что мой туалет — знак принадлежности к другой эпохе, оппозиция горланам-бунтарям — футуристам в желтых блузочках. Те — леваки всякие: мейерхольды, маяковские — демонстрируют разрыв с традицией, а я, моноклем своим, — продолжение ее. Консерватор-с, будьте уверены. Выражения такие изысканные употребляю: «позвольте-с заметить», «никак-с невозможно»,

«любезнейше вас попрошу»… — Он расхохотался. — Знаешь, какую историю сочинили? Будто я столь деликатен и отзывчив к успехам коллег, что в день выхода номера поджидаю автора, особо, якобы, отличившегося, в кулуарах и, словно невзначай, церемонно выражаю распирающий меня восторг. Прямо токующий вальдшнеп… Чуть только ручку не целую.

— Вот уж не поверю. Ты — злючий, придирчивый, тебе угодить как писателю вообще невозможно! Если он, конечно, не Гоголь и не Чехов.

— А вот спроси моих гудковцев, скажут: «Под маской напускной суровости скрывается нутро нежное и возвышенное», как в хорошей телячьей косточке горячие мозги. — Михаил вздохнул, выудив из тарелки голое баранье ребро. Дешевые «суповые наборы» мяса, как правило, не содержали даже мозговых косточек.

— И кто такие байки пустил? — Сидя у окна, Люба на пяльцах вышивала занавески из простынного полотна. Отвела руку, полюбовалась. Вот уж не напрасно в Демидовской гимназии рукоделию выучили. И красиво называется — «ришелье»! — Кто ж тебя таким угодником ославил?

— Случайно пару раз само вышло. Сидел в бухгалтерии, надеялся деньги изъять. А тут автор шагает, весь зардевшийся, со свежим номером, где его гениальный материал пропечатан. И так небрежно на ходу свою статейку вроде пробегает, а сам по сторонам зыркает — за эффектом следит. Ну, ты меня знаешь — бросился, светясь радостью: «Читал-с, читал-с! Примите мои поздравления, голубчик! Весьма удачно прохватили. Второй час вас дожидаюсь, чтобы руку пожать! Великолепный слог, музыкальная речь…» Один раз, другой такой спектакль разыграл… Вот и пошло. Этакий граф Булгаков, умеющий ценить успехи товарищей по перу.

— Ты клоун, обожающий кого-то посадить в лужу. И хватает же у тебя на все сил — заводная Мака! — Отложив вышивку, Люба убрала со стола. — Жаль только, что мы с тобой в самом деле не дворяне. Отыскался бы сейчас в Европах родственничек богатенький…

— И нас, голубчиков, на Соловки, а наследство — в госказну. Да что я — вспомоществование частным лицам ОГГТУ. За труды праведные.

Глаза отобедавшего литератора, как театральные софиты.

— А знаешь, откуда все это пошло — с моноклем, проборчиком? Когда только приехал в Москву, снарядился в первый поход по редакциям. Старые часы раздобыл, пиджачную пару у кого-то напрокат выпросил.

Завязал пышным бантом креповый галстук и явился в почтенную редакцию. Усевшись у редакторского стола, подкинул монокль и ловко поймал его глазом — этот финт я еще в гимназии отточил. Подкинул — и поймал, ни на йоту не изменившись в лице! Редактор смотрел на меня потрясенно. Но я не остановился на этом. Из жилетного кармана извлек «луковицу» и нажал репетир, сыгравший чуть ли не «Боже, царя храни».

«Ну-с?» — сказал я, вопросительно взглянув на редактора. «Ну-с, — хмуро ответил мне редактор. — Возьмите вашу рукопись и займитесь всем, чем угодно, только не литературой». — Он вздохнул: — А весь этот маскарад был придуман для того, чтобы спрятать мою застенчивость и неуверенность.

— Теперь прятать нечего. Вполне бойкий товарищ образовался. Хоть и в тулупе.

— Все равно — перед редакторским столом обмираю. И гаденькое чувство, что выдаю себя за другого — некоего успешного литературного деятеля.

В сущности — это же театр. А играю я роль того оглушенного славой писателя, каким хотел бы быть. И смеюсь над этим. Всегда над всем смеялся. Больше всего над своими мечтами. Это врожденное. Знаешь, один родился — и в ор. А другой — только на свет появился — и рот до ушей. Важно еще, где родился, когда. — Он злобно затушил в пепельнице окурок. — И ведь все было так хорошо, все сошлось правильно… А теперь кто-то из хохмачей сказал про меня: «Веселый юродивый в похоронной процессии».

— Мака, умоляю тебя — никаких сомнительных высказываний! Здесь стены фанерные. Хватит философствовать. Нам еще фельетоны сочинять. И я необнятая уже неделю хожу.

— А кто ночами хохмить о канализационных стоках на Неглинке будет, славу грядущую зарабатывать? Фельетончик на разлив дерьма требуется.

— А кто девочку-Любочку приголубит?

3

Серенький осенний вечер, серенький Мака, измученный сочинением ненавистных фельетонов, мается, привычно сидя на подогнутой ноге за письменным столом.

За окном, за короткими шторками с узорчатыми сквозными углами вышивки «ришелье» московская ночь, освещенная скудными желтыми фонарями.

Неслышно подошла босая Люба, обняла за плечи.

— Все горбишься, горбишься, как раб на галерах. Смешно хоть выходит?

— «Люблю тебя как прежде, но не будь такой жестокой…» — прозвучал неожиданно громкий баритональный вокал. — Душевно, правда, получается? Песни, думаю, у меня пойдут. Или, например: «Смейся, Паяц, над разбитой любовью…» Прям за живое берет. И герой социальный — трудовой элемент! Только что написал.

— Ш-ш-ш! Соседи стучат! — Люба зажала мужу рот ладонью, он усадил ее на колени. — Что на тебя ночью-то находит? Чего бузишь?

— Прилив вдохновения от твоего сопения за спиной.

— Макочка, пошли спать. Я понимаю, тебе надо зарабатывать деньги на прокорм толстухи Любани. И на эти тряпочки, которые я обожаю. Они выглядят почти лохмотьями.

— Лохмотьями? — удивился писатель. — Моя супруга — самая нарядная дама в Москве. На тебя все оглядываются, и ты — ярчайший цветок в любом букете.

— Просто я умею смеяться. И аккуратно штопать шелковые чулки.

— Какой извращенец будет рассматривать штопки на такой ножке? — Михаил приподнял ночную сорочку.

— Макочка, — Люба отстранилась и опустила подол ночной сорочки. — Я лежала и думала. Ты все пишешь, а я что? Я ж не фефела малограмотная, а элемент творческий. И я многое могу. Могу тебе помочь — я ведь столько всего повидала. Могу сочинять какие-то сводки, репортажи…Твой Любан очень наблюдательный парень.

— Дело говоришь, жена… У меня была мысль. К чертям собачьим репортажи! Мы будем писать жутко смешную пьесу — вроде водевиля. Вместе!

— Вместе?! — Глаза Любы загорелись.

— Ты в Париже около трех лет жила, все их штучки знаешь. А мы как раз про Париж и пропишем. Пьесу под названием «Белая глина».

— Это еще что за штука такая? Что-то индустриальное?

— Глина обычная… Мопсов из нее делают…

— Ой, мопсов — что за прелесть! Не поверишь, именно об этом я и мечтала. Мопсы в Париже — мечта поэта!.. Что тебя смутило? Ты что, не веришь, что я смогу?

— Напротив. Уверен в тебе. — Михаил с виной и горечью подумал, что не мог такого предложить Тасе. И даже не пытался вовлечь ее в свое дело. Сволочь. Теперь, став мужем другой и проживая заново «медовые дни» совместной жизни, он стал

частенько вспоминать начало жизни с Таськой на Рейторской улице. Юные, свободные, такие легкомысленные и счастливые! А как она была прелестна — безрассудно влюбленная девчонка…

Он встал и заходил из угла в угол, сочиняя на ходу.

— В большом имении вдовы Дюваль, проживающей с восемнадцатилетней дочерью, обнаруживают белую глину. Мосье сосед бросается на разведку и попадает под чары хозяйки. Далее сюжет все больше трясет водевильными хохотом — постоянные недоразумения возникают из-за сына соседа, инженера-геолога, естественно, тоже влюбившегося. В кого? Да он сам не знает! Все сбиты с толку необычайным сходством матери и дочери. Финал венчают две свадьбы. Как тебе?

— У Булгакова не бывает провалов. Представляю, сколько анекдотов ты там накрутишь. Завтра и начнем. Бьен?

Это были счастливые дни — капустник на двоих. Сочиняли и веселились, подкрепляясь горячим чаем и поцелуями.

Наконец, в руках Михаила был готовый материал.

— Продадим в театр Корша. Они любят, чтобы непременно шумел ночной Париж и богатые вдовы в лирическом трансе на юных джентльменов бросались. Завтра пойду торговаться — штучка-то не дешевая. — Он бережно завязал тесемки на папке.

… Вечером вернулся молчаливый и сразу к печурке. Сунул листы и плотно закрыл дверцу.

— Говорят: «Пьеса салонная — не пойдет». Слыхал я уже это. Им, оказывается, тоже про передовиков производства надо.

— Миша! Ну зачем сразу жечь! Есть же другие театры, без производства. — Люба стояла на коленях у печки, поняв, что спасать уже нечего. Больно жадно набросился огонь на исписанные листки. Не замечала, как капают слезы.

Михаил обхватил ее за плечи, поднял, посмотрел в мокрые глаза:

— Любан. Это плохая пьеса. Поверь мне. Признаюсь — я уже написал пять подобных. Некоторые даже шли во Владикавказе, и меня вызывали на сцену под грохот оваций. Но… чувство эстетического стыда — наверное, самое стыдное. Ты совсем не виновата. Мы сочиним другое — настоящее. Про эмиграцию, про русских беженцев в Константинополе…

Люба затихла на плече.

— Ты будешь подробно рассказывать про все: голоса, запахи толпы, цвета, обычаи, а я запишу. Обещаю, это будет отличная пьеса.

Взрывное балагурство Булгакова было насущной потребностью его брызжущей энергией натуры. Афоризм «весь мир — театр» казался ему слишком уж отвлеченным, и он был готов использовать любой момент, чтобы превратить самый будничный «материал» в сценическую площадку. Очертя голову несся на волне смешливого куража, импровизируя, фантазируя, ошарашивая и очаровывая всех. В незнакомой компании вначале казался человеком замкнутым и мрачноватым, но вдруг начинал говорить, и уже никто не замечал, когда этот строгий блондин превратился в главного затейника, весельчака и острослова. Балагурство отлично служило и в оборонительных целях. Под насмешливой игривостью он прятал самое дорогое — спасал от ударов болевые точки. А самым главным в его писательской жизни была сейчас судьба романа «Белая гвардия». Ведь свершилось же — напечатали! Журналы продаются в каждой лавчонке! Их покупают и читают. Читают жадно, передавая друг другу и удивляясь: «Неужели тог самый Булгаков?», «Позвольте, он уже показал себя отличным сатириком в «Роковых яйцах». — «Каких еще яйцах? Эротический роман?»

Публикация окрылила Булгакова. Читки романа в кругу друзей-единомышленников проходили на «ура». В Москве заговорили о «Белой гвардии».

Неудивительно, что однажды апрельским дождливым днем 1925 года к автору явился весьма интересный господин — режиссер Б. Вершилов из МХАТа, лучшего театра страны (а как считали многие, — и мира), и предложил сделать по роману, потрясшему его, пьесу. Во-первых, ни одной советской пьесы в театре еще не было. Во-вторых, молодежная часть труппы томилась на старом репертуаре и, наконец, роман Булгакова очень понравился в театре.

Михаил Афанасьевич немедленно согласился — он уже сделал черновой набросок пьесы. А главное — то, о чем он мечтал, возможно, с колыбели, для чего появился на свет — свершилось! Роман, уже оживший в воображении, на волшебной коробочке сцены, понравился МХАТу. Самому МХАТу! Фантастика. Это не театр во Владикавказе и не наскоро сляпанные «Сыновья муллы», о которых и вспоминать стыдно. Это то, за что он, Булгаков, отвечает каждой капелькой своей крови. Он работает с упоением. И появляются «Дни Турбиных» (у Максудова из «Театрального романа» — «Черный снег») — пронзительная пьеса про сквозняк, ветер, ураган революции, про гибель прелестного, честного, милого старого мира, про неизвестность впереди и жуткую поступь свершившейся катастрофы.

15 августа пьеса была представлена театру, а в сентябре состоялась первая читка.

То, что Булгаков — прирожденный человек театра, блеск его характеристик, легкость перевоплощений, мгновенных импровизаций, заметили сразу. Мрачноватый, сдержанный, постреливающий ироничным светлым глазом, он читал без всякой аффектации, точно проигрывая реплики каждого персонажа. Человек строгий и закрытый при первом знакомстве, целиком раскрывался в чтении собственного текста. У актеров было полное ощущение, что им фантастически повезло. Сам же автор всем существом ощутил — он попал в свой мир.

5

Теперь наша жизнь изменится… — размечталась Люба. — Может, квартиру дадут?

— Отчего это? Я что — генерал?

— Тебя же считают лучшим писателем. МХАТ взял твою пьесу! А остальные у них в репертуаре — все классика.

— Дорогая, это странная удача. Странная. Словно насмешничает кто-то из высших начальников. Не знаю, какими муками придется за нее расплачиваться.

— А может, не велят казнить, велят миловать?

— Эх, как бы мне хотелось под марш Радамеса въехать в советскую так называемую литературу! Только иллюзии это. Сны. Да и не литература это — бал лизоблюдов. Что бы там ни говорили мои поклонники и друзья, — я чужак. Да, сейчас верю — писатель сильный. Но всем духом — чужой! Нельзя скрыть ненависть, когда начинен ею, как порохом граната. Не умею я лицемерить. Одно злое насмешничество получается. И это мне, рано или поздно, зачтется.

— Мака, прямо речь на дыбе. А Алексей Толстой с тобой в ресторане обнимался и в Союз писателей приглашал. Надеется — вдруг «переродишься»? Приспосабливаются же другие. Или найдешь свой, менее ядовитый взгляд на происходящее.

— Люба, — Михаил сжал ее предплечья и проговорил одеревеневшими губами: — Никогда не говори мне об этом. И о Мейерхольдах всяких с Маяковскими не говори! Прихлебатели. На разные голоса убогую эту потемкинскую деревню славят. Обидней всего, что талант людям дан и в своем же уме — не из психбольницы выпущены… Это… это хуже предательства… Эх, кабы мне силы побольше! — Хлопнув дверью, он вышел из комнаты.

И верно, в «органах» уже лежало досье на ненадежного гражданина Булгакова, сочинителя антисоветских пасквилей. МХАТ боролся за «Турбиных», но и власти не успокаивались. В театр притер отзыв наркома просвещения А.В. Луначарского на пьесу М.А. Булгакова «Белая гвардия»:

«Я внимательно прочел пьесу. Не могу не высказать мое личное мнение. Я считаю Булгакова очень талантливым человеком, но эта пьеса исключительно бездарна… Заурядные, туповатые, тусклые картины ненужной обывательщины… нет ни одного запоминающегося типа, ни одного занятного положения… Я с уверенностью говорю, что ни один средний театр не принял бы этой пьесы именно ввиду ее тусклости, происходящей, вероятно, от полной драматической немощи автора…»

Пробежав отзыв, Михаил похолодел от ярости. Каждое слово письма «тонкого критика, интеллигента» Луначарского жгло, било прямо в сердце. «Пьеса исключительно бездарна… исключительно…» Утопиться — и концы в воду.

Он медленной, полной достоинства походкой покинул театр. О чем думал, пока шел домой? Пел, изображая пьяного, толкая редких прохожих, размахивая руками: «Ой-да загу-загу-лял, загулял! Парень, парень молодой, молодой. Да в красной рубашоночке, хорошенький такой…» Тысячу пардонов, товарищ. Очочки, к счастью, целы остались. «Я весел сейчас, отпираться не стану. В постели моей завелись тараканы! О Маритана, моя Маритана, ты никогда не покинешь меня?..» И зарыдал по-оперному, простирая к прохожим руки… Прохожие шарахались.

Люба нашла его, сидящего во дворе на поленнице дров. Октябрьские ранние сумерки, желтые окна домов, за ними звон сковородок, поварешек, раздраженные голоса.

— Макочка, мне звонил Паша Марков… Я все знаю… — Она обняла его, чувствуя, как крупно дрожат худые плечи. — А жить-то надо, у тебя вон в ящике стола такая сильная вещь про Шарикова лежит. И «Зойкина квартира» у вахтанговцев скоро выйдет. Да он просто на тебя зуб имеет, этот скользкий нарком. Тут игры особые, Макочка, тут за чистую монету ничего принимать нельзя…

— Знаешь, нам лучше разойтись. Не пара мы. Не пойму я, что ты, такая краля, с дерьмом связалась…

Он поднялся и молча зашагал к дому.

«Ох, ну и характер — крученый-перекрученый. Уж и не знаешь, с какого боку зайти… — думала Люба, глядя в угрюмую спину мужа. — Однако саданули под дых без всяких сентиментов, интеллигенты советские…»

Отзыв Луначарского сразил мхатовцев. Они уже успели

влюбиться в пьесу, в Булгакова, не мыслили никакой замены, но мнение наркома просвещения не проигнорируешь. А 4 октября было созвано экстренное совещание репертуарно-художественной коллегии МХАТа. Принятое постановление должно было как бы удовлетворить всех. Автору предложили «пьесу доработать», дабы смягчить упреки наркома.

Павел Александрович Марков — молодой заведующий литературной частью театра, обладал, помимо других достоинств, двумя редко совместимыми качествами — задорной юной смешливостью и мудрой дипломатичностью. Мягко улыбаясь, цитируя классиков, Паша (как его называли в театре) обрисовал ситуацию со всех сторон, подчеркивая то, что без пьесы Булгакова МХАТ не мыслит свое существование, и если автор произведет кое-какие чисто формальные изменения, то пьеса, несомненно, пойдет. И дело здесь чисто политесное.

— Полагаю, мне будет позволено подумать. — Поднявшись, Булгаков церемонно откланялся и в полной тишине покинул собрание. А на следующий день театр получил от него ультимативное письмо, в котором автор заявлял, что, в случае если от него потребуют переделок, он забирает пьесу.

Он сидел у окна, курил и смотрел в одну точку. Конец. Бездарь. Размечтался. И вовсе он не так хорош, этот роман. И пьеса никуда не годится… Вот только жаль теплой комнаты с изразцовой печью, бок рояля и растрепанные ноты на нем… И голоса, и бренчание гитары, и снег, снег за кремовыми шторами, и выстрелы, и страх, и любовь, и веру… Куда это все девать — уже рожденное?.. Хоть бы одним глазком увидеть, хоть бы на Малой сцене… нет, нельзя, нельзя сдаваться, нельзя бежать от тявканья Луначарского… Просить нельзя, бояться нельзя. Главное — не терять достоинства. И сохранить лицо. Ну почему совершенно антигероическая личность, литературный мирный обыватель все время должен лезть на баррикады? С кем-то сражаться, что-то доказывать? Не хочу! Ненавидеть не хочу, драться не хочу, мозги свои захламлять дрязгами мелочными — не хочу! Хочу быть покойным, счастливым и добрым! — Он не заметил, что рассуждал вслух.

— Это ты здорово сформулировал! — Люба неслышно вошла и поставила перед ним стакан крепко заваренного чая — бог ее знает, где нашла. Но чай дымился и пах чем-то бывшим, правильным, надежным. А еще — домом Турбиных, первым актом пьесы он пах! Пьесы, которая никогда не увидит сцены…Нет. Застрелиться!

— А к тебе делегация. — Люба отворила дверь. Вошли, тихо поздоровавшись, как на похоронах, Хмелев, Яншин, Марков.

— С нами вся труппа увязаться хотела, но мы попридержали. Дамы петицию вознамерились составить и к букету приложить.

— К похоронному венку, — уточнил Булгаков.

— Михаил Афанасьевич, вы уже давно поняли, в какое время и в каком месте нам всем повезло родиться и творить. — Торжественно, как на собрании, начал Марков. Глубокие живые глазки его смеялись. — Ну что мы все — никогда не компромиссничаем? Только и крутимся как уж на сковородке, чтобы хоть часть самого ценного донести, спасти. А вы для нас — самое ценное.

— Вы ж наш — мхатский (именно так, мхатский. — *Л.Б.),* — чуть не плакал Яншин. — Мы ж такие планы строили… Что ж теперь мой Лариосик… — Толстые губы его задрожали, — что ж его Турбин Алешка — он кивнул на Хмелева, хмуро изучавшего половицы черными мрачными очами, — не будут никогда? Не будут на сцене? — Он засморкался в мятый платок. — Хотите — на колени встанем. Всех под окно приведем и бухнемся.

Варвара Михайловна, мать писателя. 1910 г.

Афанасий Иванович Булгаков, отец

Фото семьи Булгаковых. Впервые без отца

Михаил Булгаков гимназист

Фото Михаила Булгакова со студенческого билета

Михаил Булгаков 1916

Здание гимназии № 1 в Киеве, где учился Михаил

Андреевский спуск. 1910 г.

Татьяна Лаппа

Михаил Булгаков. 1912 г.

Татьяна Николаевна у дерева

Сестры М.А. Булгакова

Варвара Афанасьевна и Леонид Карум

Варвара Афанасьевна Булгакова. 1912

Михаил Булгаков. 1916 г.

М.А. Булгаков в группе врачей. 1916 г.

Татьяна Лаппа

Улица Большая садовая, д. 10

М. А. Булгаков. Начало1930-х гг.

Московский мюзик-холл

Любовь Белозерская. 1926 г.

Любовь Евгеньевна — танцовщица в Фоли Бержер

Михаил и Любовь Булгаковы на лыжной прогулке (второй ряд слева)

Патриаршие пруды. 1985 г.

Патриаршие пруды. Середина 1920-х гг.

Михаил Афанасьевич на генеральной репетиции «Мольера»

Останкино

Любовь Евгеньевна у автомобиля

Кабинет на Большой Пироговской, д. 35а

Улица Большая Пироговская, д. 35а

Елена — гимназистка

Елена Сергеевна. 1907 г.

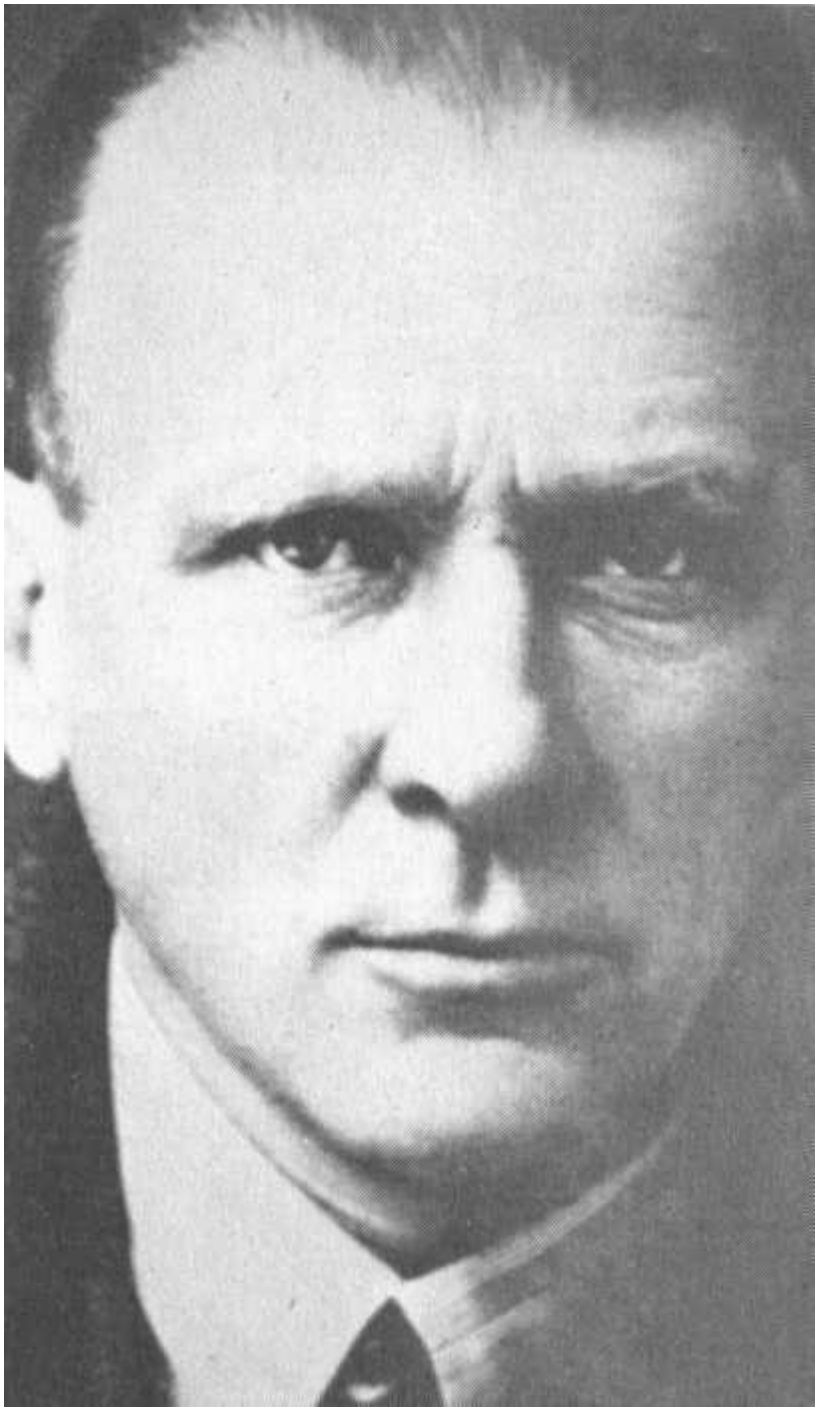
Нащокинский переулок. 1986 г.

Кабинет Булгакова в Нащокинском переулке

Литературный институт. 1986 г.

Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна

Малый Левшинский переулок. 1986 г.

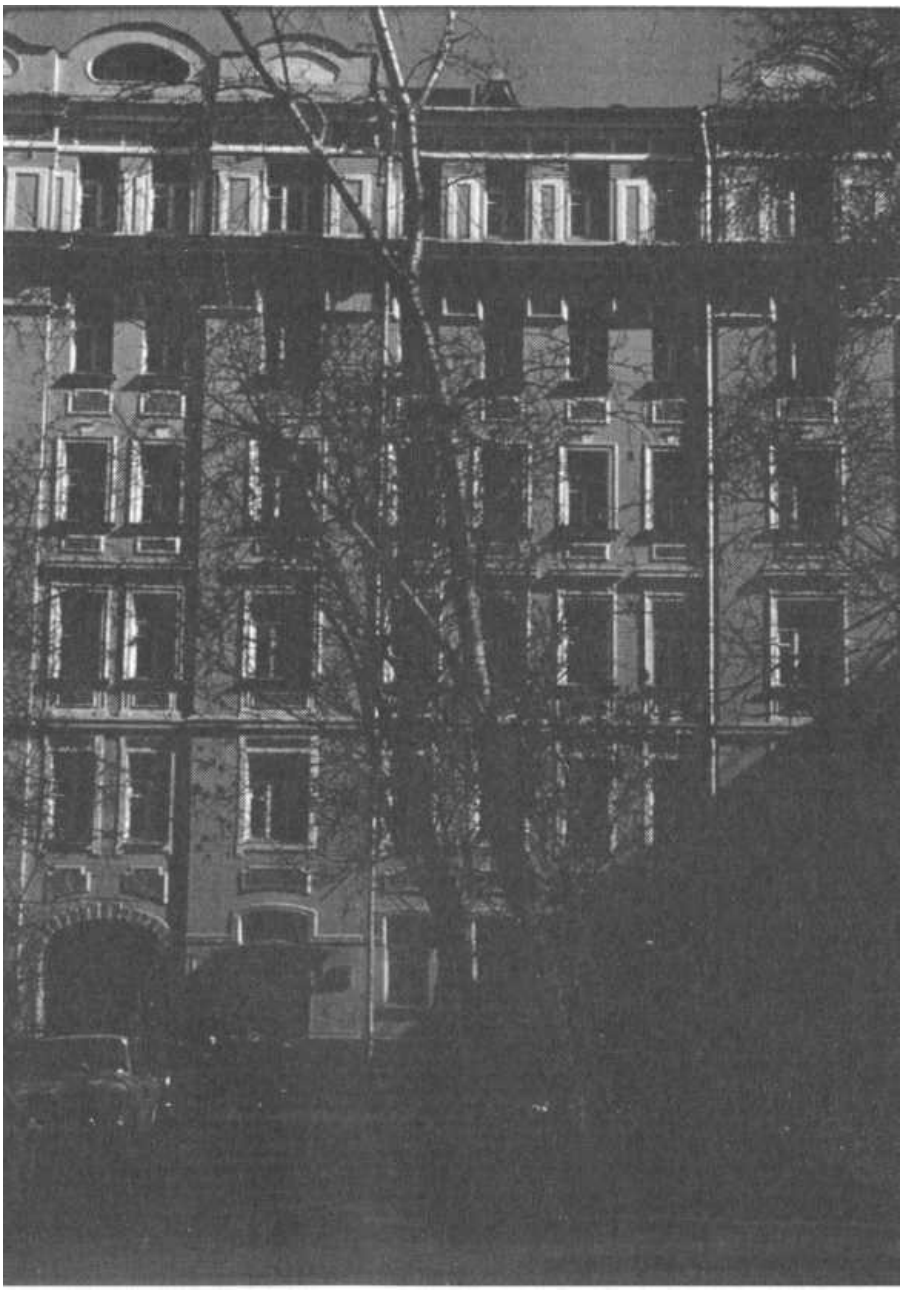


Михаил Афанасьевич. 1936 г.

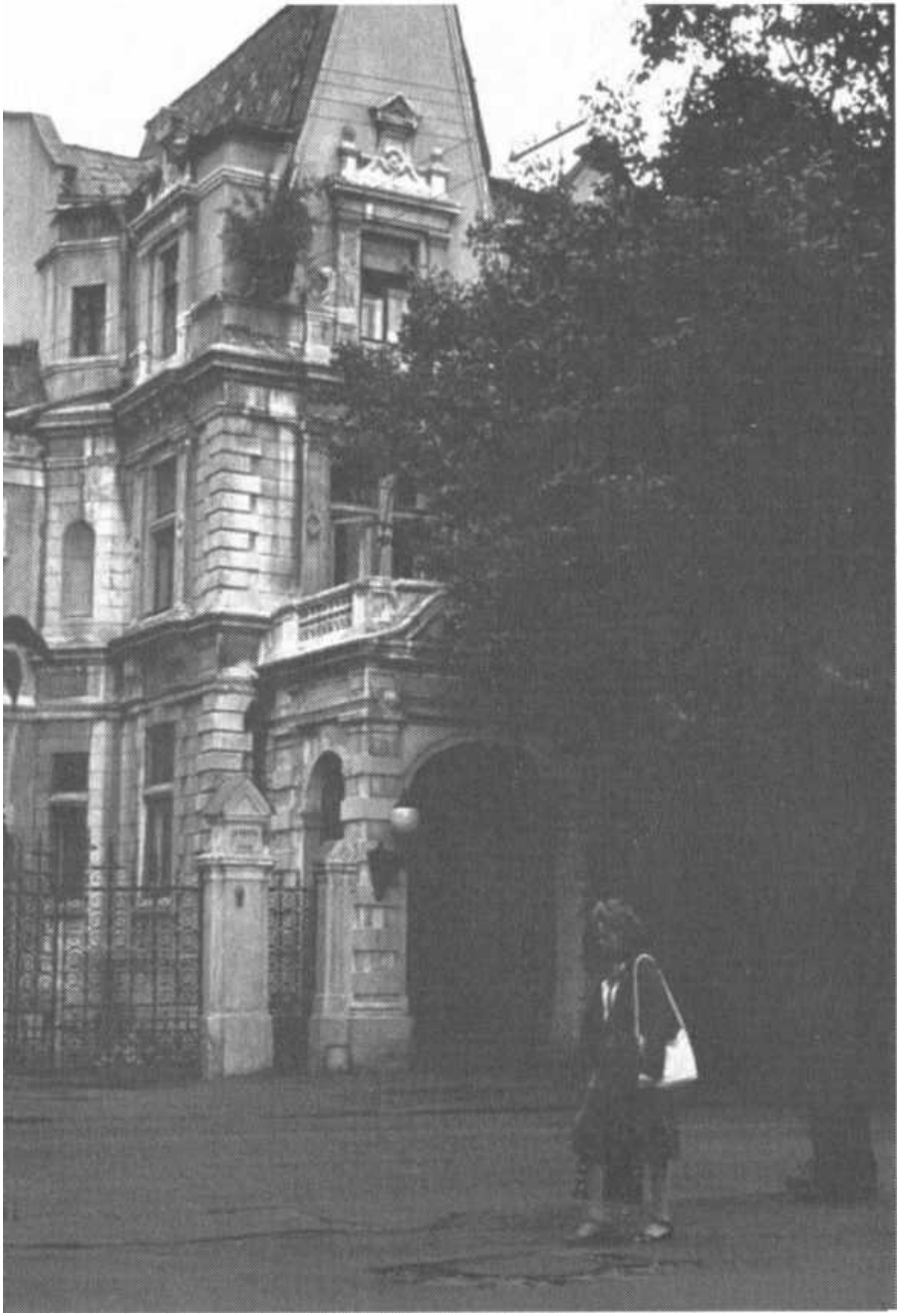
Елена Сергеевна

Елена Сергеевна и ее племянник в квартире в Нащокинском переулке

Подвальчик мастера. Плотников переулок, д. 10



Плотников переулок, д. 10



«Замок». Центральный дом литератора. 1986 г.

МХАТ, старое здание

Улица Большая Никитская, дом, в котором была школа. Здесь жили Любовь Евгеньевна и Михаил

Афанасьевич

Елена Сергеевна. 1936 г.

Михаил Афанасьевич за рабочим столом

Елена Сергеевна. 1964 г.

Дом Пашкова. 1986 г.

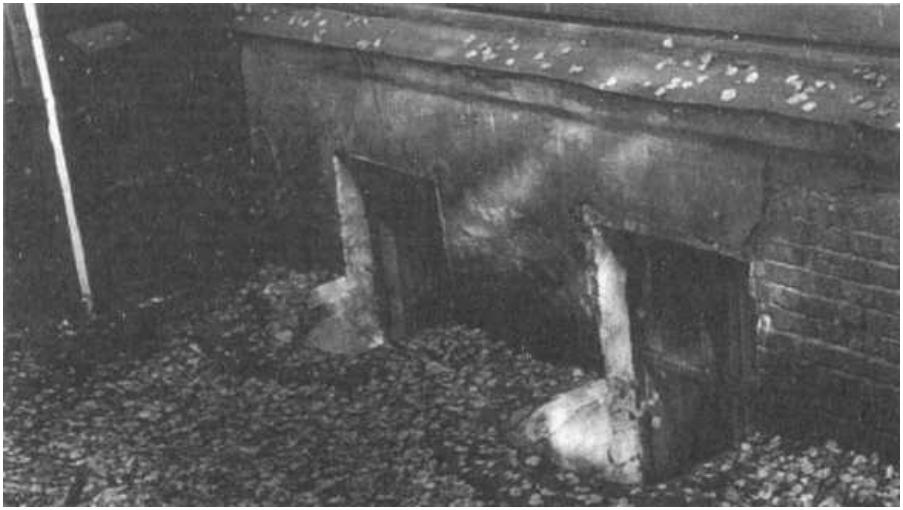
В постели. 1940 г.

Надмогильный камень Михаила и Елены Булгаковых

Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич. 1939 г.

М.А. Булгаков в Батуми

Мансуровский переулок, д. 9. 1986 г.



Мансуровский переулок, д. 9, окна подвала

Татьяна Лаппа

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова. 1984 г.

— Не обижайте Россию-матушку, она у нас и так обиженная, — буркнул Марков. — И не обижайтесь, Христа

ради. — А чаек здесь всем дают?

— И с пирожками! — приоткрыла дверь хозяйка. — Наша Василиса-соседка на продажу печет, вот теперь от себя ради искусства отрывает.

Был чай с пирогами картофельными и капустными. Появилась и водочка. От души отлегло, и тяготы обид показались уж совсем пустяковыми, детскими. А счастье сидеть вот так, с этими людьми — огромным. Михаила понесло. Как часто бывало, после упаднического настроения он легко впадал в эйфорию.

— Объясниться дозволите? — заговорил Михаил. — Дело-то не простое, господа, вышло у нас с вами. Вернее — у вашего покорного слуги. Эх, не случайно нас Бог свел… Затаенная мечта выйти на аплодисменты публики владела мной с детства. Во сне я видел свою длинную шатающуюся фигу ру с растрепанными волосами, которая стоит на сцене, а благодарный режиссер кидается ко мне на шею и обцеловывает меня буквально под рев восторженного зрительного зала!

Театр я любил безмерно, растворялся в нем. От великой игры у меня пот на лбу выступал от наслаждения… Клянусь честью. Самое горькое чувство я испытывал, когда кончался спектакль и надо было выходить на улицу. Мне очень хотелось надеть актерский костюм и принять участие в действии. Выйти внезапно сбоку, наклеив себе колоссальный пьяный нос, в кафтане, с тростью, с табакеркой в руке и сказать что-то очень смешное. И это смешное я выдумывал, сидя в тесном ряду зрителей. Но произносилось другое смешное, и зал смеялся. Ни до этого, ни после этого, никогда в жизни не было у меня ничего такого, что вызывало бы наслаждение больше этого.

— Будет, жизнью клянусь — будет! — Поднявшись, приложил руки к худой груди субтильный тогда еще Яншин. — Вот к генеральной приедет Константин Сергеевич — и все мигом решит. Он у нас великий стратег!

Дискуссии с театром о переделках в пьесе и изменении названия были долгими, трудными. Но в конце концов — утряслось. Афиша сияла между двух мхатовских фонарей: «Большая сцена, Премьера 5 октября. Драма «Дни Турбиных», Автор М.А. Булгаков».

7

Творческие замыслы толпились, требуя выхода, Булгакову было трудно сдерживать напор, соблюдать очередность: работалось ночами, работалось днем — дома и в закутке

редотдела «Гудка», в трамвае и на лавке бульвара — безостановочно шел внутренний процесс созревания и реализации замыслов. Лишь мощные удары извне, сбивающие с ног, заставляли сомневаться в оценке сделанного, в смысле избранного дела, в важности голосов, звучащих внутри. Тогда он умолкал. Но исподволь, под спудом опустошенности, начинали работу загадочные механизмы фантазии, рождая миры. Профессор Преображенский, его ассистент Борменталь, горничная Зина, кухарка, пожарник, комнаты, шкафы с блестящими инструментами — все это являлось внутреннему взору и молило о воплощении. А еще многое другое, что непременно надо было высказать.

— Любан, как тебе это? «На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыра со слезой, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелок несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты — тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки»… Ну что, Любан, узнаешь обеды дядьки моего Николая Михайловича Покровского, маминого брата? Мы к нему как-то заходили — **угол Пречистенки и Обухова переулка,** напротив пожарной заставы.

Она не ответила, Она тихо плакала:

— И никогда, никогда ничего этого больше не будет…

— Напротив! — Он подсел на тахту и обнял жену. — Я написал, и это останется вечно. И вся невероятная история, случившаяся с уличным псом Шариком. Да возьми вот, почитай! Почти закончил — сильная вещь вышла… Вот за нее и посадят!

Ночами, сидя при свечах с поджатой под себя ногой, Михаил исписывал листы косым летящим почерком. Почти не правя, не переписывая, не зачеркивая слов. Так, именно так и должна кончиться эта история:

«В отдалении глухо позвякивали склянки.

Седой же волшебник сидел и напевал:

— «К берегам священным Нила….»

«Собачье сердце» прочли во МХАТе, бурно восхитились и тут же приняли к постановке. Булгаков витал в облаках, окрыленный несказанной удачей.

Но и враги не дремали. Ночью на Голубятню нагрянули

гости. Тихо постучали. Дрогнувший голос пьяненького арендатора сладко пропел:

— А я к вам гостей привел.

На пороге стояли двое штатских: мужчина в пенсне и невысокий, как выяснилось позже — следователь Славкин. Арендатора прихватили в качестве понятого.

Славкин занялся книжными полками, мужчина в пенсне стал переворачивать кресла и колоть их длинными спицами.

— Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю, — шутил Михаил.

Расчудесные кресла были куплены на складе бесхозной мебели по 3.50 за штуку.

Под утро трезвеющий арендатор спросил:

— Почему вам, товарищи, не перенести ваши операции на дневные часы?

Ему никто не ответил. Найдя на полке «Собачье сердце» и тетрадки с дневниковыми записями, гости тотчас же уехали.

Булгаков посылает гневное письмо в ОГПУ, обвиняя контору в унижении человеческого достоинства, вторжении в личную жизнь… И требует вернуть изъятые вещи…

Разумеется — никакого ответа. Стало ясно, что обращаться в ОГПУ бесполезно, надо действовать через вышестоящие инстанции.

Булгаков незамедлительно обратился с протестом на проведение обыска и изъятие текстов во все известные ему правительственные органы. Результат тот же — гробовое молчание.

8

Настал долгожданный день премьеры «Дней Турбиных» — 5 октября 1926 года. Полный аншлаг, за кулисами настроение праздничное. Занавес поднимали 16 раз. Скандировали «автора!» — но Булгаков не вышел. Он стоял за кулисой, стиснув зубы, повторяя на каждый разлет бархата с парящей чайкой:

«Вот вам, вот вам «бездарность»! Вот вам «тупая обывательщина»! Вот вам, господин руководитель творческими идеями, полный накаут. Уж будьте покойны — вы по уши в дерьме, товарищ Луначарский!»

После небольшого банкета в театре актеры были приглашены в гости к автору. Вечер, перешедший в ночь, превратился в триумф взаимной любви и преклонения. «Ах, как она взмахнула рукой!..», «какая тонкая интонация!», «а заметили, заметили,

когда Лариосик упал»… Шел разбор спектакля со смаком во всех мелочах и с полным удовольствием. Сошлись во мнении — получился не только спектакль, а еще и концерт первосортных номеров, высокопробных актерских работ.

Павел Александрович Марков подвел итог: «Это была первая советская пьеса во МХАТе. Для обновленного театра для молодежной труппы она стала своего рода новой «Чайкой».

Ради таких мгновений — голодный, в морозной ночи, он писал роман, ради этого непередаваемого восторга выписывал тубинский дом на грани полного отчаяния, как главный завет живущим… Он не отказался бы от них, даже если бы знал, что последует за победой.

«Сегодня в «Гудке» с ужасом почувствовал, что я писать фельетонов больше не могу. Физически не могу. Это надругательство надо мной и над физиологией.

На дворе осень, под ногами шуршание опавшей листвы. В душе февраль.

— Чем все это кончится? — спросил меня сегодня один приятель.

Вопросы эти задаются машинально и тупо, и безнадежно, и безразлично, и как угодно.

Да чем-нибудь все это да кончится. Верую!» — Булгаков яростно подчеркнул последнюю фразу. **Верую, верую!**

«Верую в окончание бессмысленной, злобной и античеловеческой власти. И… если хотите — Верую! В высшую справедливость, в Создателя нашего — верую». Мысли, которые после оформятся как сюжет романа «Консультант с копытом», сидели в Булгакове, возможно, с тех детских бесед и споров с отцом, от впечатлений панорамы «Голгофа», а может быть, были заложены свыше. Как знать? Мы не можем ответить и на более простые вопросы.

Юношеский атеизм ушел в прошлое. Во второй половине 20-х годов Михаил с близкими друзьями непременно ходил в **Зачатьевский монастырь** на Остоженке на Рождественскую и Пасхальную службы. А затем все садились за праздничный стол, как было заведено с детства. Знакомые недоумевали: в такие-то годы церковные праздники отмечать — небезопасное дело. А Михаил, разводя руками, шутил:

— Нешто мы не русские люди?

Травля чуждого элемента

Переезд в дом № 30, угол Малого Левшинского и Пречистенки. Здесь происходит

множество событий, связанных со спектаклем «Дни Турбиных», пьесой «Багровый остров», и работа над главным романом — «Консультант с копытом» (впоследствии «Мастер и Маргарита»). Близость круга друзей Булгакова «Интеллектуальная Пречистенка»

1

И все же им удалось перебраться в двухкомнатную квартиру. Старый московский особнячок в глубине двора, две маленькие комнаты на антресолях, выкрашенные по моде середины XIX века в синий и желтый цвета.

Спали в синей, жили в желтой комнате.

Прелесть этого жилья состояла в том, что оно находилось в центре местожительства пречистенских друзей — московских интеллектуалов, подружившихся с четой Булгаковых.

Прогуливаясь по арбатским переулкам, Михаил часто заходил к Николаю Лямину — философу, логисту, с которым недавно крепко сдружился. Верный человек, зоркий, в доску свой. Николай Николаевич Лямин и его жена Наталья Абрамовна Ушакова, художница, были сердцем кружка творческой интеллигенции «высокой квалификации». В него входили известные академики, искусствоведы, специалисты «старой школй».

Неподалеку жили друзья — Павел Сергеевич Попов и его жена Анна Ильинична Толстая. Их квартира, расположенная в подвальчике **(Плотников переулок, дом 10),** по одной из версий, стала прообразом тайного убежища Мастера и Маргариты.

Здесь Булгаков часто читал друзьям только что написанные страницы. Полная, с крупным лицом и мужицкими руками, Анна Ильинична Толстая, внучка великого писателя («вылитый дед, бороды не хватает» — очертил портрет Михаил Афанасьевич), чудесно пела романсы под гитарный аккомпанемент своего мужа — философа Павла Сергеевича Попова, впоследствии подружившегося с Булгаковым и даже исполнявшим при нем миссию биографа.

Это был новый круг друзей, в который легко вошла Любочка, объединению которого всячески способствовала. Здесь — У Ляминых или у Поповых — читал Булгаков только что написанные страницы.

Читал он отменно, лучшего профессионала для озвучивания

его текста было бы трудно найти. Он проигрывал все реплики, оттенки настроения и ничуть не актерствовал, не пережимал. Здесь впервые были прочитаны повесть «Собачье сердце», отрывки романа «Консультант с копытом», получившего позже название «Мастер и Маргарита». Интеллигенция Пречистенки слушала Булгакова с замиранием души. Все понимали, что перед ними раскрывается очень большой писатель и что жизнь такого писателя в Советской России не может быть легкой. И недолгой может оказаться его свобода — стукачество, фискальство были нормой жизни. Булгакова предупреждали, но он пренебрегал осторожностью.

Успех в кругу друзей был единственной поддержкой Михаилу, единственным откликом на писательский труд: пусть не печатают, так хоть видно — писал не зря, сидят и слушают. Хвалят, да никто-нибудь — самые-самые спецы и тонкачи, без всяческих скидок и оглядок на регалии. Успех пьянил молодого, в сущности, автора, и никакие опасения, нашептываемые друзьями, не останавливали его стремления к публичности.

Реакция на письма, разосланные Булгаковым в правительственные инстанции, все же последовала — Булгакова вызвали на Лубянку. Официальной бумагой — все чин чином.

Он вел себя достойно, стараясь не лгать и не поддаваться на провокационные вопросы.

— Считаю, что повесть «Собачье сердце» вышла гораздо более злостной, чем я предполагал, создавая ее. — Булгаков глянул на макушку стенографиста, уже целый час не отрывавшегося от листов и занесшего в дело все, как полагается, про гражданина Булгакова: кто таков, где, как, куда — подробным образом. На макушке редела плешь, совсем как у Шарикова. — Есть моменты, оппозиционные к существующему строю, — завершил он.

— Ведущие к свержению строя? — уточнил следователь.

— Лишь не во всем согласные с ним, — твердо и отчетливо поправил Булгаков.

Вывернулся.

Булгакова не арестовали. Но последовала жесточайшая война, объявленная сверху: началась травля писателя. Г.Г. Ягода умел организовать «мнение художественной общественности». Премьера «Дней Турбиных» вызвала взрыв неприятия небывалой мощности, словно кроме этого спектакля МХАТа ничего в театральной жизни и не происходило. Сигналом к атаке послужила статья критика А.Орлинского, призывавшего дать отпор «булгаковщине». Волна глумливых пасквилей затопила прессу.

Образ «вражеского подпевалы», «идеологического врага»

отображали карикатуры. Кипы рецензий — одна злобней другой изощрялись в умении угодить властям и нанести автору и театру удар побольнее.

Булгаков завел большие альбомы и стал вклеивать в них вырезанные из газет и журналов статьи. Некоторые места подчеркивал.

— Мака, зачем ты собираешь эту пакость? В печь их, в огонь!

— Нет, Любушка, такое забывать нельзя. Вот и клею для потомков — чтобы помнили. Не всегда ж гак было. И не навсегда останется.

2

В эти дни, месяцы, годы травли «Турбиных» Булгаков живет как на передовой — танцор на канате под градом пуль. Чем яростней атака, тем смелее и отточенней трюки. Боится ли он? Сколько раз доктору Булгакову — в госпитале на передовой, у операционного стола, в кровавой круговерти гражданской войны приходилось заявлять: «Я не герой! Мне для счастья нужны только мой письменный стол и зеленая настольная лампа. Я не люблю и не понимаю политику, не выношу интриги, ложь, зависть. Ненавижу смерть». И он один на один боролся с ней, вынужденный быть героем.

Теперь противостоял травле — сплоченной, хорошо организованной. Особенно болезненными для Булгакова были раны, нанесенные соратниками, — не все в руководстве МХАТа радовались выходу «Турбиных», не всех устраивал столь скандальный спектакль. Булгаков долго не ходил во МХАТ, задумав изложить свои мытарства на бумаге, ответить завистникам и обидчикам.

Какая страшная позиция — один в поле воин. Нет высшего судии и заступника нет! Ты один — судья и ответчик. Ему не единожды хотелось «сбежать» — уйти из жизни, капитулировать, но спасало убежище — возможность писать! Создавать миры по своей воле, в которых может воссиять истина и прозвучать заветное слово. Даже в юмористических опусах Булгаков не забывает высмеять своих врагов. И не перестает насмешничать — он из породы тех, кто хохочет и под наведенным на него дулом.

Еще в 1924 году в журнале «Накануне» был опубликован фельетон Булгакова «Багровый остров». В 1927 году фельетон превратился в пьесу. На основе произведений любимого Жюля Верна Булгаков выстраивает феерическое представление, как бы пьесу молодого драматурга Домогацкого, описывающую борьбу

краснокожего населения с белыми арапами.

Без особой натяжки можно было разглядеть, что смешливое и озорное сочинение в пародийной форме излагает историю Февральской и Октябрьской революций 1917 года, гражданской войны и возможной будущей интервенции против СССР, как это виделось русским эмигрантам-сменовеховцам, чьим органом была газета «Накануне». А также высмеивает лживость усиленно насаждавшегося коммунистической властью мифа об оправданности и даже благотворности красного террора.

О революционном перевороте на Багровом острове пишет пьесу некий молодой писатель, а злобный цензор Савва Лукич чинит ему препятствия. В шутливую форму комедии Булгаков, помимо политического подтекста, вложил многое: полемику с богоборческим пафосом футуристов, издевку над душившей его цензурой. Пьеса была поставлена в 1928 году в Камерном театре с великолепным оформлением Рындина.

3

Между тем положение Булгакова критическое. Его больше не печатают, в конце 1927 года репертком запретил «Дни Турбиных».

А меньше чем через месяц — 12 октября 1927 года — в театр пришла телефонограмма: «Репертком разрешил оставить в репертуаре спектакль «Дни Турбиных».

Булгаков, переживший настоящую трагедию — гибель самого важного в его жизни спектакля, записал в альбоме: «Воскрешение! 20 октября 27 года «Турбины» идут впервые в новом сезоне. И в 119 раз от начала постановки!»

Позже Булгакову расскажут, что Станиславский ходил лично к Сталину, грозил закрыть театр, если «Турбиных» снимут, и тот согласился продлить срок существования спектакля. Стало ему известно, что и главный недоброжелатель — Г.Г. Ягода, приложивший массу усилий, чтобы утопить пьесу, остался с носом.

В 1928 году в театрах Москвы шли сразу три пьесы Булгакова — «Дни Турбиных», «Зойкинаквартира», «Багровый остров». Вокруг скандального автора собирается кружок верных, чрезвычайно интересных людей: Илья Ильф и Евгений Петров, Николай и Борис Эрдманы, Юрий Олеша, Замятин.

В **Левшинском переулке** становятся частыми гостями актеры — Качалов, Яншин, Хмелев, Кудрявцев, Станицын. Этой зимой Булгаков повеселел, ходил на лыжах с Художественным театром. Частенько совершал пробеги по замерзшей Москве-реке

с Колей Ляминым. Именно здесь, на какой-то возвышенной волне белизны, покоя и безлюдья, Булгаков позволял себе говорить о серьезном.

— Самое страшное, Коля, — это трусость. От нее вся подлость идет. И зависть к добру не приводит. Эх, как об этом говорить-то серьезно? Только юмор может спасти пафос. И то гениальный. — Он огляделся, они стояли на краю крутого спуска. — Что, слабо съехать вниз? Давай за мной! — Знакомый синий лыжный костюм и шапка с помпоном помчались, рассекли нетронутую белизну, превращаясь в мизерную фигурку. — Это упражнение способствует излечению от трусости, — крикнул Михаил. — Или перелому конечностей. Уж как повезет.

Более других в критике Булгакова неистовствовал московский журналист **А. Орлинский.** Он не только призывал к походу против «Турбиных» на страницах газет, но и заканчивал этим призывом бесконечные диспуты, инициированные вокруг Булгакова.

7 февраля в **театре Вс. Мейерхольда** состоялся диспут по поводу «Дней Турбиных». Вернее, рассматривался возмутительный факт: как получилось, что идеологически вредная пьеса идет на сцене лучшего театра страны второй год? Михаил Афанасьевич подобных сборищ не посещал. Но однажды терпение кончилось. Как всегда светски подобранный, одетый безукоризненно, Булгаков появился в театре Вс. Мейерхольда, произведя впечатление на присутствующих не меньшее, чем ошеломившая охрану Эльсинора тень отца Гамлета. По рядам пробежал шумок — присутствующие решили, что Булгаков пришел каяться, и замерли в предвкушении долгожданного удовольствия.

С высоко поднятой головой виновник писательского гнева медленно поднялся по ступенькам на сцену. В президиуме сидел готовый к атаке Орлинский.

— Покорнейше благодарю за доставленное удовольствие. Я пришел сюда только затем, чтобы посмотреть, что это за товарищ Орлинский, который с таким прилежанием занимается моей скромной особой и с такой злобой травит меня на протяжении многих месяцев. Всего пару слов. — Говорящий сделал мхатовскую паузу.

— Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть невежество моего оппонента и нелепость его аргументации в критике отдельных моментов пьесы… — После этого Булгаков коротко и ядовито разбил нападки Орлинского по всем направлениям критики «Турбиных» и завершил свою речь со спокойным доброжелательством: — Наконец я увидел живого Орлинского, я

удовлетворен. Благодарю вас. Честь имею.

Не торопясь, с гордо поднятой головой, он спустился со сцены в зал и с видом человека, достигшего своей цели, направился к выходу при оглушительном молчании публики.

Орлинский и Литовский — самые голосистые облаиватели Булгакова, соединенные в фамилию **Латунский,** станут главной жертвой расправы мстительной Маргариты.

Любовь настигла их

Переезд на Большую Пироговскую, дом 35 а, в трехкомнатную квартиру — первое солидное место жительства писателя. Творческий взлет и травля. Знакомство с Еленой Николаевной Шиловской. Кризисный 1929-й — Политбюро запрещает все произведения Булгакова. Письмо Правительству. Разговор со Сталиным

1

— Ты поймешь меня, Паша. Я вырос в нормальном доме, у меня было хорошее детство, была комната, свой стол! Казалось бы, все последующие мытарства должны были выветрить эту буржуазную придурь. Я должен мечтать о коммуне, нарах, общепите с оловянными кружками. А я хочу квартиру! Самому противно.

— Миша, ты смешной, совписы делят дачки, грызутся за квартиры, не стесняясь писать доносы на своих коллег. Это стыдно. Но иметь писателю свой кабинет, пусть в нем не будет бухарских ковров, — это нормально. — Павел Александрович Марков пришел с визитом.

— Нельзя не признать, что ты на коне, Миша. Три пьесы с аншлагами идут на московских сценах. О тебе заговорила заграница. Да еще как! Тсс! Мы ничего не знаем.

— Представь себе, мне очень понравилось не быть нищим! Я не только могу выкинуть из шифоньера столетнюю рвань, я могу даже позволить себе не писать сериями фельетоны чуть не каждый день. И самое главное: осталось время для большой серьезной работы! Но… — Михаил скривился, словно у него заболели сразу все зубы. — Хотелось бы купить ковер для кабинета. Имеет право писатель украсить свой кабинет ковром?

— Позволь, дорогой, где ж сей кабинет?

— В том и вопрос. К тому и подвожу тактический маневр. Ни кабинета, ни квартиры. А пока у меня нет квартиры, я не человек. Да, не человек! А пока у человека нет кабинета, где бы он мог в уединении работать, — нет и писателя.

— Есть писатель, несомненно, есть! И он нам нужен, — оживился Марков. — Михаил Афанасьевич, театр умоляет вас написать пьесу. Ведь ситуация с «Собачьим сердцем» пока

совершенно темная. Театр ждет от вас новый материал, и он готов на все, — заверил Марков.

— Что это значит — «на все»? Мне, например, квартира до зарезу нужна — как вам пьеса. Не могу я здесь больше жить. Пусть дадут квартиру. Ничему на свете не завидую — только хорошей квартире. Я не только МХАТу, я дьяволу готов продаться за квартиру.

Увы, ни дьявол, ни МХАТ квартирой Булгакова не обеспечили. Пришлось арендовать самим на **Большой Пироговской, дом 35 а,** в бывшем особняке купца Решетникова трехкомнатную квартиру. Немалая роскошь по тем коммунальным временам, и арендная плата вовсе не скромная. Комнаты располагались на первом этаже. В гостиную надо было спускаться на две ступеньки. Из столовой, наоборот, подняться, чтобы попасть через дубовую дверь в кабинет. Дверь была великолепна — из темного резного дуба, а ручка изображала бронзовую птичью лапу, держащую в когтях шар.

— Любань! Устрой подобающую знаменитому писателю обстановку. Желаю жить роскошно, — с удовольствием оглядел писатель свои владения и несколько раз нажал на птичью лапу с хрустальным шаром — тяжелая дверь открывалась бесшумно.

— Будь сделано, командир. Все свалки прочешу.

— А на свалку весь старый мир отправлен — самое чудесное место.

Наконец, он получил кабинет! Кабинет по всем правилам — со столом, лампой, стеллажами книг и даже ковром!

Перевезли тахту, письменный стол — верный спутник писателя, и несколько стульев. Знакомые разыскали остальную мебель.

На окна повесили старинные турецкие шали. Из синей подклеенной вазы сделали лампу, столь желанную хозяину — символ дома, мира, достоинства. Именно попранная власть абажура стала в «Белой гвардии» самым веским обвинением попавшей в исторический разлом России.

«Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте — пусть воет вьюга, — ждите, пока к вам придут».

Эту заповедь повторял он себе множество раз, исписывая листы в круге теплого света и спиной ощущая холодок — за ним могли прийти в любую минуту.

Кабинет манил к работе. Торцом к окну устроился стол, за ним стены с книжными полками, на которых рядами стояли полные собрания сочинений русских и зарубежных классиков, две

энциклопедии: Брокгауза-Ефрона и Большая советская. На одной из полок повешено предупреждение: «Просьба книг не брать».

Альбомы с ругательствами томились в нижнем ящике стола. На столе Библия, пятисвечный канделябр — подарок Ляминых, бронзовый бюст Суворова, фото Любы и заветная материнская красная коробочка из-под духов «Коти», на которой рукой Михаила было написано: «война 191…» — и клякса.

Здесь хорошо писалось, и под ногами был ковер — не бухарский и не роскошный, но все же — теплая нега. Здесь написан первый вариант **«Консультанта с копытом»,** из которого почти неизменными вошли в последний текст все сцены с Иешуа, завершены пьесы **«Бег», «Кабала святош».**

Булгаков на подъеме. В трех театрах идут его пьесы, его окружает вполне приемлемый домашний уют. И лампа горит на столе, и кошка греется под лампой… А главное… главное то, что произошло в феврале — чудесная женщина посмотрела ему в глаза, и понеслось, понеслось…

2

Четырехэтажный, только что отремонтированный дом с колоннами для высшего комсостава в Большом Ржевском переулке (дом 11, кв. 1). Напротив, среди крон старых деревьев, густо опушенных инеем, видны купола церкви Ржевской Божией матери. Семья начальника штаба Московского военного округа Шиловского въехала сюда недавно. Елена Сергеевна — хорошенькая и бойкая, выбрала квартиру номер один на первом этаже — самую лучшую в доме, с окнами на церковь.

— Милая, эго неудобно. Лучшая квартира должна принадлежать командующему округом Уборевичу, — засомневался муж, Евгений Александрович Шиловский.

— Пустяки. Сегодня он командует, завтра другой.

Уборевич без возражений взял себе квартиру на третьем этаже с окнами во двор и отдал своему заместителю квартиру № 1. С улыбкой похлопал Шиловского по плечу:

— А у тебя жена молодец! С такой не пропадешь. Счастливого вам житья-бытья в новых апартаментах!

Елена Сергеевна активно распоряжалась устройством нового жилья. Теперь у нее будет один из лучших домов в Москве — гостеприимный, красивый, с молодой остроумной хозяйкой, прелестными детишками и таким безупречным главой семьи. Даже с сестрой Олей, желавшей жить рядом, вышло удобно. Она заняла в этом же доме небольшую, но очень уютную комнату,

украшенную коврами и выходящую окном на цокольную площадку между двух колонн.

— Все отлично, отлично, отлично… — Елена Сергеевна отстукала бодрый ритм черенком серебряной чайной ложки и который раз выглянула в окно, приподняв угол белоснежной «маркизы». — Ну что же Оля задерживается?

Чайный столик в гостиной накрыт на две персоны — легчайший фарфор, льняные крахмальные салфетки. Серебряная сухарница полна миндальных печений, в конфетнице — шоколадные шарики грильяжа. Горничная Вера — молодая, пышная, кровь с молоком — поставила перед хозяйкой, одетой по-утреннему в длинный атласный капот, хрустальную вазочку, изображающую корзинку с серебряной ручкой.

— Тут кексики, как Ольга Сергеевна любят-с.

— Иди, Верочка, я сама приму Олю. А в три заедет портниха, надо платье к приему в Кремле подшить. Худею что-то, — она затянула поясок на талии.

— Уж вы бы лучше, чем печенья грызть, каши по утрам велели наварить. От них румянец — во — свекольный! и жар в крови. А еще… — Горничная оглянулась на дверь и, прикрывая ладошкой рот, быстро прошептала: — И грудь кошмарно растет!

— Ну, с грудью у меня и так все вроде в порядке, — рассмеялась Елена Сергеевна. — А румянец ни к чему. К черным волосам идет матовая бледность. — Она поднялась, посмотрела на себя в каминное зеркало. — Нет, пожалуй, не нужна бледность. Он сказал: «На морозе щеки у тебя совершенно яблочные. Даже пахнет антоновкой!» Только тут не каши нужны. А вот укладка удачная, надо сказать Бенджамену, чтобы запомнил, как волны положены. — Зевнув, она встала у окна, потянулась с приятной негой и стала смотреть на воробьев, сбивающих лохматый иней. Благополучная женщина, слишком благополучная.

Елена Сергеевна не нуждалась в деньгах. Елена Сергеевна могла купить все, что ей понравится. Среди знакомых ее мужа попадались интересные люди. Елена Сергеевна никогда не прикасалась к примусу. Елена Сергеевна не знала ужасов житья в совместной квартире. Муж, безупречный семьянин и гражданин, обожает ее. В момент брака с Еленой Сергеевной Шиловскому шел тридцать второй год. Он был красив, благороден, образован, талантлив. Профессиональный военный, в свое время воспитанник кадетского корпуса и Константинов-ского артиллерийского училища, окончил Академию Генерального штаба в 1917 году. В первую мировую войну — капитан. С 1918 года — крупный военачальник Красной Армии. Командующий 16-

й армией, затем помощник начальника Академии Генштаба, с 1928 года — начальник штаба Московского военного округа, которым командовал Уборевич.

Удачный муж, самый лучший… Растут под присмотром немки-гувернантки два здоровых мальчугана — шести и трех лет. Светская жизнь бьет ключом. Кремлевские банкеты, ложа в Большом театре, премьеры, санатории, лучшая портниха, самый модный в Москве парикмахер, дорогая косметичка-француженка… Следить за собой — вот забота. Ароматные ванны, поездки в Ессентуки, массаж, душ Шарко… Но как это все скучно! Ведь уже тридцать шесть, молодость уходит и чего-то явно не хватает… Не хватало. Теперь есть все. — Елена Сергеевна тихо рассмеялась и, услыхав звонок, бросилась к двери гостиной, опередив Веру.

— Не целуй — от меня сквозит. Я прямо из театра. К себе даже не заходила. Так на этом курорте соскучилась! Из театра за мной на вокзал «экипаж» прислали, но, ты знаешь, я не поклонница лошадиной тяги! Приморозило на этой колеснице зверски! Чемодан и сумку, Вера, в мою квартиру отнеси, потом сама разберу. — Она быстро говорила, скинув на руки домработницы каракулевую шубку и расстегивая высокие ботики.

Ольга Сергеевна Бокшанская — родная сестра Елены, состоящая в разводе, вернулась из санатория. Жила она с сестрой очень дружно, и отсутствие в три недели казалось вечностью.

Сестры обнялись, и стало сомнительно, что сестры, — такие они разные. Высокая, костистая, резкая в движениях Ольга, и вся плавная, текучая, в пропорциях классических статуй вылепленная Леля.

Ольга принесла морозный воздух и крошечный букет живых фиалок — только она одна знала, где их взять. Секретарь В.И. Немировича-Данченко Ольга Сергеевна Бокшанская — всесильная личность.

— Олюша, ты голодна? Хочешь, велю подать студень и всякие копченые вкусности? Как твой бронхит?

— А, и забыла уже, что это такое; эскулапы крымские все мгновенно вылечили грязями.

— Но тебя ж в поезде не кормили! Господи, как я соскучилась!

— Перестань суетиться. Если только глоток хорошего коньячка в кофе — согреться. Кексики с цукатами я уже вижу. И грильяж. Все по высшему разряду — как сказал бы твой муж. — Ольга села, закинув нога на ногу. Обрисовались худые колени под узкой габардиновой юбкой. — Рассказывай, времени в обрез. У нас в три прогон. Меня телеграммами забомбили — прямо

главный человек в театре! Без Бокшанской — никуда.

— Ой, и не знаю, с чего начать…Такое закрутилось! — Елена Сергеевна сделала трагические глаза и сжала ладонями виски. — Начну издалека, ладно? Совсем издалека — мне ведь самой во всем разобраться надо. А ты подскажешь, умница моя. — Елена погладила руку старшей сестры, державшую хрупкую чашечку. — Вот, ты сама видишь, я совершенно счастливая женщина. Совершенно.

— Ну, с этим трудно спорить. — Ольга с удовольствием хрустела грильяжем. Если Елену все дружно считали красавицей, определяя ее несколько тяжеловатый нос как интересную пикантность, то этот же нос, чуть увеличенный в масштабе, делал Ольгу почти дурнушкой. Она это знала и нашла собственный, вполне элегантный стиль. Деловая женщина. Подстриженные до мочек ушей темные волосы, фетровые шляпы, узкие юбки и весьма смелые взгляды на отношения полов.

— Елена Шиловская — самая счастливая семейная дама из всех мне известных. Если честно, это нонсенс — семейное счастье, — высказалась Ольга с привычной категоричностью. — Говоря проще — иллюзия, которую негласно сохраняют оба.

— Олюша, ты меня знаешь… Я не ищу приключений. — Блики мутного солнца лежали на ободке хрустальной вазочки с кексами, которую в раздумье крутила на скатерти Елена: то блеснет, то погаснет юркий огонек…

— Еще как знаю! В тихом омуте черти водятся. Твои безумные скоропалительные браки…

— Первый — по молодой дурости. Второй — просто идеален.

— До противного. Так и хочется что-нибудь подпортить, верно? — Ольга засмеялась, показав крепкие, крупные зубы.

— Ну зачем ты так говоришь? Знаешь ведь, как я люблю Жень моих — мужа и старшенького. А что для меня значит мой малыш! Ты и вообразить не можешь.

— И притом тебе мучительно чего-то не хватает в этой семейной идиллии.

— Видишь ли… — Елена встала и зашагала по мягкому ковру, мелькая из-под атласного подола белым пухом на домашних туфельках. — Иногда на меня находит такое настроение, что я не знаю, что со мной делается! Ничего меня дома не интересует, мне хочется жить ярко, полно… Я не знаю, куда мне бежать, чем заняться… — Вскользь она успевала полюбоваться собой в зеркалах — каминном и высоком между дверей.

— Только моя милая сестра может говорить такие вещи с выражением святой невинности. Бежать ей хочется! Понятное

дело — пора завести любовника. Ваш безгрешный семилетний брак безукоризнен. Извини, это смешно. — Она поднялась и достала из резного буфета бутылку коньяка: — Промерзла вся.

— Ах, почему же сразу «любовника»! Неужели все непременно надо опошлять? Просто я думаю, что во мне просыпается мое прежнее «Я», с любовью к жизни, веселью, шуму, людям, к встречам и… Ты же меня знаешь.

— Знаю, знаю. И все поняла. Переходи конкретно к **нему.** Кто тот, которого так не хватало идеальной жене? Надеюсь, ты не влюбилась в своего виртуоза парикмахера?

— Оля, я, прежде всего, хочу, чтобы ты меня поняла. — Большие черные глаза Лели смотрели с мольбой. «Сколько в ней женщины! — с чувством превосходства подумала Ольга. — Играет, бедняжка, оправдывается… А влюблена до потери пульса!»

— Мне хочется больше света, жизни, движения! — Уловив скепсис во взгляде сестры, Леля заговорила горячо, быстро: — У тебя есть театр, твое любимое дело. Мой удел — портнихи, косметички, выходы в гости. Женя занят почти целый день, малыш с няней все время на воздухе, и я остаюсь одна со своими мыслями, фантазиями, нерастраченными силами…

— Будем считать, что твоя чуткая сестра все правильно поняла. А теперь хочет знать подробности. Когда, с кем, где?

— Ах, сама сейчас не знаю, когда мы познакомились. В начале этого месяца — это точно. Какие-то знакомые устроили блины — масленица же прошла. И всю неделю — блины, блины… кажется, это было у Уборевичей. Он еще на старой квартире жил.

— Молодой военачальник обожает проводить музыкально-артистические вечера.

— Я оказываюсь за столом рядом с голубоглазым блондином. Про его историю во МХАТе ты мне много раз рассказывала.

— Булгаков?! Пфф! — Ольга резко отодвинулась от стола и сделала трагические глаза. — Более неудачную кандидатуру найти было бы трудно. Кто же спорит — это чрезвычайно интересный человек, огромный талант, но сейчас он в опале, и я бы тебе не советовала показываться рядом с «идеологическим врагом». Подумай сама: ты не жена рядового бухгалтера. Кроме того, он женат на чрезвычайно бойкой даме. Что выкинет эта особа, узнав об измене мужа, трудно предположить.

— Оля, я ни о чем не думала! Я не могла оторвать от него глаз, как завороженная. Он фонтанировал юмором. Придумывал спичи, танцевал, разыгрывал сцены, что-то пел, дурачился… И все выходило безумно своеобразно, талантливо и свободно! Как…как полег птицы… Ты знаешь, я ненавижу пошлость, вульгарность. Он

начинен подлинной искрометностью — человек-театр! Помнишь мое креп-сатиновое бордовое платье? Там на рукавах тесемки и одна развязалась. Я протянула ему руку: завяжите, если не трудно. Завязал. Поцеловал мою руку медленно, со значением, и так посмотрел в глаза… знаешь, Оля, редко мужчины умеют смотреть в глаза **так…** Прямо сердце останавливается.

— Он посмотрел **так,** и ты обещала ему встретиться?

— Мы условились на следующий день пойти на лыжах. И завертелось! После лыж — генеральная в театре, после этого актерский клуб, где он играл с Маяковским на бильярде. Словом, мы почти неделю встречались каждый день, и, наконец, я взмолилась и сказала, что мне необходимо выспаться. И чтобы Миша позвонил мне на следующий день. Я легла рано чуть ли не в 9 вечера. И что ты думаешь? — Глаза Лели сверкнули интригующе. — Ночью — было около трех — встревоженная Верочка зовет меня к телефону (Женя все эти дни был в командировке).

Я подошла.

— Оденьтесь и выйдите на крыльцо, — загадочно сказал Миша. Живет он на Большой Пироговской — далеко отсюда, но повторяет настойчиво: «Выходите на крыльцо!» Я оделась и вышла из подъезда. Луна светит как фонарь, и все вокруг как заколдованное — серебряное, замершее. Миша — весь белый в лунном свете — стоит у крыльца. Медленно достает из-под меха на груди нарциссы… Смятые, но еще теплые.

— Погоди, даже меня пробрало — так романтично. — Ольга налила в рюмку коньяк и выпила. — Ночью с Пироговки шел сюда пешком?

— Да ты слушай дальше: берет меня под руку и на все мои вопросы и смех прикладывает палец к губам и молчит… Ведет через улицу на Патриаршие пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку: «Здесь они увидели его в первый раз», и опять палец у губ, опять молчание…

— Да уж, заинтриговал. Со странностями мужичок. Ну а в смысле поцеловать?

Елена опустила густые ресницы:

— Было, но так… как в балете — совершенно эфемерно.

Ольга хмыкнула:

— Это настораживает. Гении такие нервные, такие дерганые… Поговорить у них получается отменно… В смысле романтических вздыханий… А большее… Да ведь тебе и не надо большего.

— Оль, пожалуйста, не смейся… Мне ничего не надо. Только любви! Необыкновенной любви. А он — совершенно

необыкновенный. И… И влюблен без памяти.

— И ты по уши, не отпирайся — я же вижу. — Ольга со вздохом покачала головой. — Смотри, сестра, мужа-то не огорчай. Если с Булгаковым встречаться надумаешь — поаккуратней, умоляю! В такую семью раздор вносить… Это, милая моя, от жира. Ты Евгения своего пожалей, о мальчишках подумай… И тогда уж — увлекайся сколько угодно! — Ольга решительно поднялась. — Ладно, остальное расскажешь вечером. Меня в театре уже, наверное, с собаками ищут.

Провожая сестру, Леля всплакнула:

— Как это все получилось — сама не понимаю. Я ж не хотела! Но буквально мгновенно, очнуться не успела, и уж он для меня — свет в окне. Все время думаю.

— Постарайся отвлечься, держи его на расстоянии и себя не распаляй. Смотри, а то Женьку из-под носа уведут!

— Он у меня преданный. До гроба… — Леля высморкалась в тонкий платочек. — Прямо хоть травись…

— Ой, обожаю мелодрамы! Только предупреждаю — это не твой жанр.

3

— Люба, мне пройтись надо!

— Да ты хоть доху надень, метель же! — крикнула она вслед и который раз за эти дни подумала: «Романчик опять закрутил. Пусть пофлиртует, ему для творчества полезно».

Он вышел под мокрый снег, летящий вкось с мартовским ветром, подставил лицо ледяному крошеву и вдохнул полной грудью: «Май… Май! Опять май!»

С первой же минуты, как только сидевшая рядом женщина повернула к нему бледное, в легкой пыльце дорогой пудры лицо с яркими, чуть косящими глазами, и протянула руку с развязавшейся тесемкой, грянуло колоколами во всем теле — май, май! Он не слышал, что говорит она и что отвечал сам, волна счастливого куража захлестнула с ног до головы. И стоит ли разбираться, чем она приворожила его: своим узелком на рукаве, чуть косящим взглядом или какими-то женскими чарами. Она была лучшая из всех, кто существует на этом свете, — это было совершенно определенно. И жить без нее не имело никакого смысла.

«За мной, мой читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей верной вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе

такую любовь».

Он мог бы вспомнить, что так же опрометью, как в прорубь, кинулся во влюбленность к Тасе, но не вспомнил. За четыре месяца тайных встреч с Еленой Сергеевной — отчаянно страстных, нежных, она оттеснила прошлое. Вернее, слилась с ним. И теперь стало ясно — это не две любви сразили Булгакова солнечным ударом — одна. Две женщины — любовь одна. А Люба? — Отличный парень Любан. Но это другое, совсем другое.

Елена Сергеевна была бы завидной спутницей каждого — светская, шикарная, сдержанная, с благородством манер и мыслей, три европейских языка, изящество речи… Муж ее «был молод, красив, добр и честен» — напишет Булгаков в «Мастере и Маргарите». И начнется история Михаила и Елены не на масленичном банкете, а в весенних московских переулках, как в романе. Не было февраля. И метельного, вьюжного марта не было.

Сразу — весна. Никакого застолья — он и она, посреди лунной ночи.

Далеко-далеко, в безумном сне, была ночь, пустынная улица, лунный свет на пороге ее спящего дома, ее жаркое тело под наброшенной на шелковую сорочку ароматной шубой…

Перед самой последней и окончательной правкой романа встреча мастера и Маргариты была описана чуть подробнее. Может быть, Булгаков потом снял слишком памятные подробности?

«Из кривого переулка мы вышли в прямой и широкий, молча, и на углу она беспокойно огляделась. Я в недоумении посмотрел в ее темные глаза, а она ответила так:

— Это опасный переулочек, ох, до чего опасный. — И, видя мое изумление, пояснила: — Здесь может проехать машина, а в ней один человек…

— Ага, — сказал я, — так, стало быть, надо уйти отсюда.

И мы быстро пересекли опасный переулок, где может проехать какой-то человек в машине.

— А вы боитесь этого человека?

Она усмехнулась и поступила так: вынула у меня из рук цветы…»

Произошло именно то, что большинство интеллигентных людей знают наизусть: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!»

А потом они всеми силами старались удержаться на опасной черте. Михаил понимал, что не имеет права разрушать благополучную семью с прекрасными детьми и заботливым

отцом. И Елена пыталась подавить искушение. Летом поехала в Ессентуки на месяц. Он послал ей письмо с засохшей розой и вместо фото — только глаза, вырезанные из карточки. Естественно, она думала лишь о нем, он страдал разлукой, как тяжелой болезнью.

Осенью 29-го, когда она вернулась домой, они стали ходить в Ленинскую библиотеку — он писал там книгу о тех, кто встретился на Патриаршах. Книгу о них с Еленой, о тех тайных свиданиях, которые происходили в полуподвальной квартирке, арендованной Михаилом недалеко от ее дома.

Скрывать влюбленность было все труднее. Казалось, любовники стали прозрачными, и каждую минуту тайна может раскрыться. Люба сохраняла с Лелей дружеские отношения и полагала, что очередной флирт Михаила со временем развеется, как это уже не раз случалось.

Елена Сергеевна изо всех сил делала вид, что все идет по-старому, старалась быть заботливой женой и матерью. Она словно пыталась загипнотизировать себя хлопотами и чудесной перспективой. Но часто застывала с невидящим взглядом, так что Верочке приходилось по три раза окликать хозяйку.

4

И Михаил застывал за письменным столом, уносясь мыслями в будущее. Его новая пьеса **«Бег»** — о гибели в революционном буране русской интеллигенции, о пропадающих в Константинополе эмигрантах, сразу понравилась МХАТу. А это уже — знак судьбы: пан или пропал. Премьера «Бега» изменит статус Булгакова, даст надежду на соединение с Еленой… Запрет же пьесы будет означать провал, полную неизвестность. Елена Сергеевна никогда не бросит Шиловского, не оставит детей, не уйдет к опальному писателю, не имеющему достаточных средств даже к скромному существованию, да и ясных видов на будущее. Это правильно, иное решение было бы преступлением для матери двоих мальчишек. Да и для него, не смеющего разрушить семью.

Бесконечно обсуждая все на свете, словно мир был создан только что и подарен им двоим, они избегали говорить о будущем в своих отчаянных, словно перед разлукой, свиданиях. Оба чувствовали, что разорвать эту связь будет невозможно, но как построить жизнь по-иному, не знал никто из них.

Булгаков ежеминутно ждал удара и внутренне был готов ко всему.

Для многих, даже близких людей, жизнь Булгакова в те годы

представлялась на зависть яркой, необычной, в непрерывном ожидании новых побед и ошеломлений. И внешне ему удавалось сохранить видимость полной независимости. Он вел себя весело, даже беспечно, выглядел безукоризненно, манеры имел подчеркнуто изысканные, особенно в публичных местах. А нервы были натянуты в струночку.

В те годы Булгаков с женой часто ездил ужинать в **«Кружок»** — клуб работников культуры **в Старопименовском переулке,** где собирались писатели и актеры. Его появление сопровождалось оживленным шепотом. К нему, юля, подбегал тапер и, поспешив вернуться к роялю, отбарабанивал понравившийся Булгакову модный фокстротик («Аллилуйя»-звучит в ресторане у Грибоедова в «Мастере и Маргарите»).

«Те, кому доводилось встречаться с Михаилом Афанасьевичем в ту пору, в середине двадцатых годов, помнят этого чуть сутулящегося человека, с вечным хохолком на затылке, с постоянно рассыпавшимися волосами, которые он обыкновенно поправлял пятерней. Чувствовалась в этом особенная, я бы сказал, подчеркнутая чистоплотность как внешнего, так и внутреннего порядка… Булгаков был необычайна жизнерадостным человеком. Казалось, что все трудное проходит мимо него, но по существу он был необыкновенно раним», — вспоминал М.М. Яншин.

После ужина, если в бильярдной находился в это время Маяковский, Булгаков направлялся туда. За ним тянулись любопытные. Все с нетерпением ожидали скандала — ведь взаимная неприязнь писателей была общеизвестна.

Они стояли как бы на противоположных полюсах литературной борьбы: левый фланг — Маяковский, правый — Булгаков. Настроение в этой борьбе было самое воинствующее, самое непримиримое. Время от времени, как страстные игроки, они встречались за бильярдным столом.

Играли сосредоточенно и деловито, каждый старался блеснуть ударом. Маяковский играл лучше.

— От двух бортов в середину, — говорил Булгаков.

Промах.

— Бывает, — сочувствовал Маяковский, выбирая удобную позицию. — Разбогатеете окончательно на своих тетях Манях и дядях Ванях, выстроите загородный дом с огромным собственным бильярдом. Непременно навещу и потренирую.

— Благодарю. Какой уж там дом!

— А почему бы?

— О, Владимир Владимирович! Но и вам клопомор не поможет, смею вас уверить. Загородный дом с собственным

бильярдом выстроит на наших с вами костях ваш Присыпкин.

Маяковский выкатил лошадиный глаз и, зажав в углу рта папиросу, мотнул головой:

— Абсолютно согласен. Ваш консерватизм глубоко не перспективен.

— А ваша компания вместе с Мейерхольдом и Татлиным, озабоченная «колебанием мировых струн», низвержением авторитетов, получит бутерброд с маслом. Но, боюсь, на большее вам рассчитывать не на что.

Независимо от результата игры, прощались дружески. И все расходились разочарованные.

— О чем ты говорила с ним, Любан? — Михаил заметил, что жена, смеясь, перебросилась парой фраз с Маяковским.

— Я сказала ему, что болею только за мужа. А он жаловался, что я делаю это настолько явно, что у него кий в руках не держится.

— При чем здесь ты? Плохому игроку и луна помеха.

— Ты не прав. Владимир играет ровнее тебя. Ты иногда играешь блестяще, а иногда мажешь.

— Так ведь он играет только в элементарную «американку». Вот и набил руку. Я предпочитаю игру тонкую.

— Твоя излюбленная «пирамидка» — балет на сцене Большого театра.

— Именно. Не футуристическая халтура. А высокое искусство. — Михаил внимательно изучил меню: — А не ударить ли нам по порционному судачку?

5

В этом человеке, поразительным образом балансирующем на грани трагикомедии, уживались самые разные настроения. Вызывающий монокль и белоснежные воротнички с бантом служили прикрытием робости, беззащитности. Отчаянное шутовство служило убежищем от темных мыслей, не дававших ему покоя. Много раз он повторяет «ненавижу смерть!», как бы заклиная страшную неизбежность раннего ухода, о котором, кажется, подозревал.

В дневнике в ночь с 23 на 24 декабря (в Рождество по старому стилю) Булгаков записал строки из стихотворения В. Жуковского:

Бессмертье, тихий светлый берег;
Наш путь — к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег!

Вы, странники, терпенье!

В 1928 году эти строки станут эпиграфом к пьесе «Бег», позже отзовутся в «Мастере и Маргарите». В мироощущении Булгакова и в его художественном мире временное и вечное, низкое и высокое, комическое и трагическое, реальное и фантастическое слиты.

Едва ли не на первом свидании Михаил взял Елену за руки и с полной, пугающей серьезность попросил:

— Я буду умирать трудно. Поклянись, что не отдашь меня в больницу!

Она поклялась, сдерживая улыбку, — вот уж не поймешь, когда он шутит, а когда говорит всерьез. Но удивилась и клятву свою запомнила. Булгаков обожал таинственность и потихоньку вводил Елену в мир своих тайн, многие из которых впоследствии так и не разъяснил.

Однажды в мае Булгаков пригласил Елену Сергеевну **на Патриаршие** в полнолуние.

— Представь, сидят, как мы сейчас, на скамейке два литератора…

А потом повел ее в какую-то квартиру тут же на Патриарших. Там их встретил старик в поддевке с белой бородой. В камине пылали поленья, на столе стояла роскошная еда — рыба, икра. Старик сказал, что ехал из ссылки, добирался через Астрахань и прикупил деликатесов.

— Миш, куда ты меня привел? — удивилась Елена.

— Тсс! — приложил он палец к губам. Сели у камина.

Старик долго смотрел на пляшущие в темных глазах Елены Сергеевны искорки.

— Позвольте вас поцеловать?

Поцеловав, заглянул в глаза и сказал:

— Ведьма.

— Как он угадал? — воскликнул Булгаков. Но никогда так и не рассказал Лене, куда он ее водил в ту ночь.

В сентябре, когда Елена Сергеевна уехала на юг, он делает наброски «Театрального романа», адресуя его «бесценному тайному другу».

6

— Ахматова вышла из Союза писателей. И еще Замятин, Пильняк, Булгаков… Жень, ты слышишь? — Елена Сергеевна

наманикюренным пальчиком поправила искусно уложенный парикмахером черный завиток на виске. Шерстяное платье с белыми кантами по всем рельефам подчеркивало стройность фигуры и отличалось сдержанной элегантностью.

— Ты слышал, что я сказала? Это в «Правде» написано. Здесь еще про троцкистский заговор на Свердловском шинном заводе статья.

— Угу, — промычал Евгений Александрович из ванной и вышел, обтирая чисто выбритое лицо полотенцем — ароматный, красивый, надежный… — Оставь ты это. Ахматова — прекрасный поэт и человек неординарный. А уж сколько Пильняка и Замятина травили. Да и Булгакову досталось.

— Но ты же сам хвалил Михаила. Вчера сказал, что за его пьесу «Бег» сам Сталин на Политбюро заступился.

— У Сталина много противников. Он не так всемогущ, как думают многие. Вот и Булгакова ему не удалось отстоять. Запрещены все его пьесы.

— Господи… — не удержалась Лена. — Не понимаю! Ничего не понимаю! Он же самый талантливый, и пьеса так захватывает… Там же все правда про гражданскую войну, про уничтоженную русскую интеллигенцию. Ты сам говорил…

— И когда ты эту пьесу читала?

— Мне Люба рукопись давала. Я даже плакала и не спала всю ночь. И теперь погиб не только «Бег», запретили… все пьесы! Ужас какой, нет, это ужас! Как же они теперь жить будут, на что? Я позвоню им.

— Милая, сейчас тебе не следует вмешиваться в это дело. Надо все хорошенько выяснить. — Честный красный генерал-лейтенант, чистосердечно перековавшийся из белого полковника, знал, что его телефон прослушивается.

— Женя, ты такой умный, ты все правильно понимаешь, а я и не знаю. Порой не знаю, что думать… — Она явно нервничала, бессмысленно перебирая стопку газет. Ба! Да Леля едва сдерживала слезы, но они упали на газетные листы, оставляя темные отметины!

— Дорогая, нельзя все принимать так близко к сердцу. Идет формирование новой государственности, новой идеологии. Процесс тяжелый, иногда жестокий. Но ради будущего… Придется мне с моей красавицей женой проводить регулярные политзанятия. — Он обнял ее и очень нежно поцеловал в шею. — Лелечка, мне в Академию ехать пора, ты уж извини. К обеду прискачу. И не забудь, что сегодня банкет у Гурвичей. Да… — Он вернулся в комнату, с сомнением посмотрел на жену, как бы колеблясь. — Леля, ты не всегда воздержана на язык в разговорах

с Ольгой и… подругами. Имей в виду, что в нашем доме телефоны прослушиваются. Угроза шпионажа в высшем командном составе армии очень велика, и такая мера предосторожности совершенно необходима. Только тс-с! Это военный секрет, ты поняла? И не стоит так расстраиваться от баталий на фронте искусств — все образуется.

Евгений Александрович Шиловский в форме генерал-лейтенанта выглядел особенно молодцевато и подтянуто. Помощник начальника Академии Генерального штаба, начальник штаба военного округа, доктор наук, профессор, преподававший стратегию в Академии Генерального штаба, был женат счастливо уже семь лет. Имел двух чудесных мальчишек с пятилетней разницей в возрасте, прекрасную служебную репутацию и любовь очаровательнейшей из женщин… Полный порядок на всех фронтах… Тут в четком реестре размышлений Шиловского появлялась какая-то заминочка. В самом деле, Леля была безупречной женой. Но откуда сомнения? Или он просто не хочет замечать ничего настораживающего? Не хочет подозрениями разрушить счастливую гармонию?

Брови Евгения Александровича задумчиво сошлись к переносице, лицо утратило выражение спокойной уверенности в себе, свойственной ему в любой ситуации. Всплыли сразу все настораживающие детали. Да, опасения отнюдь не пустые. Надо решать, что-то надо с этим вопросом решать…

7

Смутные надежды соединить свою жизнь с Еленой Сергеевной разрушило известие, которого Булгаков втайне ждал и боялся: Главрепертком запретил постановку «Бега» по мотивам чисто политическим.

Руководство МХАТа, не теряя надежду спасти пьесу, решило организовать новую читку «Бега» на заседании Художественного совета и пригласило Горького, помогавшего опальным писателям.

Алексей Максимович пришел в восторг: «Пьеса великолепна! Это вещь, которая будет иметь анафемский успех, уверяю вас!» — воскликнул он, когда автор завершил читку. Казалось, одержана победа.

Но Главрепертком не уступал. В конце 1929 года яростная борьба вокруг пьесы перешла в политическую. Политбюро ЦК ВКП(б) в присутствии Сталина поставило вопрос о Булгакове ребром — «устранить идеологического врага». Сталин, смотревший «Дни Турбиных» не менее 15 раз, держал оборону,

защищая пьесы Булгакова.

На Политбюро он сказал, что считает «Бег» пьесой, вполне возможной для постановки, если автор добавит к написанному 1–2 картины, изображавшие внутренние социальные причины гражданской войны.

Но Политбюро придерживалось категорического мнения: «Булгаков в своих пьесах использует максимум легальных возможностей для борьбы с советской идеологией». Каганович подвел итог прениям: «Все-таки, я думаю, давайте с «Турбиными» покончим».

Решение о запрете «Турбиных» было принято. Заодно запретили к постановке и все остальные пьесы Булгакова. С несгибаемым «врагом советской идеологии» было покончено. С этого момента безработного Булгакова не берут даже наборщиком в типографию. Он лицо нежелательное, а следовательно, нищее и озлобленное.

Траурный день 29 февраля 1929 года. Такое известие никаким юмором не пробьешь. Ложись — и помирай! — вот что осталось. Все разлетелось вдребезги — надежды, мечты, вера в силу своего дара, в свою звезду, наконец. Какая-то заштампованная бумажка с мерзким официальным и глумливым «выражением лица». Товарища Булгакова извещали, что все его пьесы запрещены к постановке. Можно было бы скончаться на месте от разрыва какого-нибудь мозгового сосуда, пульсирующего барабанным боем. Можно кинуться с моста или наглотаться снотворного. Но никак нельзя уйти, не повидав ЕЕ.

8

1 декабря Елена и Михаил, тесно обнявшись, сидели в своем полуподвальном убежище и пили красное крымское вино. Рука Елены ощущала, как дрожит плечо ее друга. Она боялась сказать ему, что заметила и подергивание головы — признаки нервного тика, и болтала всякую ерунду.

— А знаешь, я всего на два года моложе тебя и родилась в октябре — вот уж противный месяц! А Ригу я люблю! Мой отец — Сергей Маркович Нюренберг был учителем, увлекался журналистикой. Мама была дочерью священника.

— У нас с тобой запятнанное происхождение — в роду священнослужители и учителя. Учили-то они не основам марксизма.

— Учили милосердию и добру. Еще у нас в семье осуждалась ложь, а я вон какая получилась.

— Да ты всегда была лгунишкой! Самые тихони потому и кажутся примерными, что скрывают неблаговидные поступки. Разбила любимую мамину чашку, и осколки под диван засунула. Попало сестре — верно? Я с детства орал, когда болел: «Мама, не надо мне лекарства, я буду примерным мальчиком и уже держу градусник». Вышло все как раз наоборот — хотел быть послушным, смиренным. А вырос балбес и задира.

— Ты не задира, ты — справедливый и бескомпромиссный… В 1911 году я окончила гимназию в Риге, а через четыре года мы переехали в Москву.

— Господи, я уже был женат на Тасе… Венчался в 1913 году и по большой любви… да это совсем особая история.

— А я выскочила замуж за ужасно симпатичного юношу — адъютанта командующего 16-й армией РККА. Кстати, он был сыном известного артиста Мамонта-Дальского. Но мы были так молоды и легкомысленны…

— Что Шиловский, его начальник, показался тебе куда солидней и привлекательней.

— Что ты говоришь! Это же обидно! Да, Евгений показался мне настоящим героем. Но это не корысть.

— Любовь. В него невозможно не влюбиться.

— Ты злишься на меня! А это все не имеет совершенно никакого значения. Никакого! С тех пор как появился ты.

— Явление идеологического мученика семейству… Советского деятеля… — Глаза Михаила сузились, голова непроизвольно дернулась. Он хотел еще говорить что-то обидное о своей враждебности всему укладу советской номенклатуры. О своей несовместимости с Еленой…

— Послушай, разве ты не понял — мы познакомились не сейчас, мы знали друг друга давным-давно. Всегда.

— Я понял, и никто не способен меня переубедить… Прости, что психую, Леля. На душе тяжко.

— Хочешь, я позвоню хорошему врачу?

— О чем ты! На Лубянке меня тщетно пытались расколоть, но так и не выудили нужных показаний. У невропатолога на допросе расколюсь сразу и скажу, что схожу с ума от разлуки с любимой женщиной. — Он попытался улыбнуться, но улыбка получилась жалкой и виноватой.

— Миша, как же ты мучаешь меня.

— Леля, это запрещение моих пьес, по сути, высшая мера. Меня уничтожили не только как писателя, но и физически, — я обречен на нищенство. Нечего и думать, что меня где-нибудь возьмут на работу. И ты… Я не могу забрать тебя.

— Все устроится, не надо так унывать. Мы молоды, у тебя

полно нерастраченных писательских сил… — Елена умолкла, чувствуя, как фальшиво звучит ее оптимизм.

— А жизненных-то уже нет… Ладно, это ерунда. Вот… Он достал из-под покрывала на тахте папку с рукописями. — Это «Консультант с копытом». Если придут за мной, конфискуют все. Я не хочу, чтобы погиб этот роман. Знай, что он хранится здесь, и спрячь у себя, если…

— Перестань. Надо надеяться.

— Сколько же можно обманывать себя! Я все время надеялся, я четыре года не писал прозу, я ждал ответа на мои письма Правительству. Я все время. ждал чуда…

— И дождался. Мы встретились.

— Леля! Больше всего теперь я боюсь за тебя. Что будет, если меня арестуют и наша связь откроется… Боги, о боги! — Он двумя руками схватился за голову и застонал.

— Послушай, Сталин заступался за тебя. Ты должен написать ему.

— Напишу, напишу, напишу… — раскачивался Михаил, зажмурив глаза. Наконец, справившись с нервным приступом, встряхнулся, взял Елену за руки. — Напишу! А пока чуда не произошло, я считаю себя неприкасаемым. Я не хочу загубить твою жизнь. Пока что-то не прояснится, видеться мы не будем.

В попытках найти выход из критического положения, Булгаков обращается с письмами к Сталину, к Калинину, Свидерскому, Горькому. Он разъясняет весь ужас своего положения и просит о разрешении на выезд из СССР. Очевидно, что писатель нуждался не столько в выезде за рубеж, сколько в защите от литературных преследователей. Это был крик души затравленной и надломленной, но гордость не позволяла ему прямо просить о помощи.

Елена извелась, не зная, как связаться с Михаилом, — телефон был под запретом, в их тайное убежище он больше не приходил. Оставалось одно — зайти проведать подругу Любу.

9

Любу беспокоило ухудшающееся состояние мужа. Он старался держаться, ухитрялся шутить, производя на посторонних впечатление покойного благодушия, но дома срывался.

Страшные головные боли сваливали его в постель — давление поднималось катастрофически, приходилось делать кровопускания. Появились навязчивые страхи — страх одиночества, темноты, открытого пространства. Что и говорить о

нервных срывах, подавленности, раздражительности. Всему этому было объяснение — на протяжении многих лет он проходил пытку издевательствами, нереализованностью.

Люба уже знала, что приступы депрессии и сменяющей ее вспыльчивости — признаки некой нервной болезни, преследовавшей Михаила с времен гражданской войны. Контузия, жуткие нервные нагрузки и в уездной больнице, и во фронтовом госпитале, и при налетах в Киеве — стальные нервы не выдержат. Она отлично изучила Алексея Турбина, отождествляя с ним образ мужа.

Люба не знала того, что тяжелое душевное состояние 39-летнего Михаила во многом связано с последствиями употребления морфия. Да, он сумел преодолеть зависимость от наркотика, но надломленная психика легко поддавалась фобиям и депрессии. Все, что происходило в его писательской судьбе, требовало богатырского здоровья и недюжинных моральных сил. Да и физические условия выживания зачастую были на грани катастрофы — голод и холод мучили Булгакова годами. Он держался за счет огромной силы воли и всепоглощающей любви к своему делу. Но и здесь приходилось сражаться с самыми страшными страхами — сомнением в своих писательских возможностях. Враги били в одну точку с садистским упорством: «не нужен», «не подходит», «запрещен», «бездарен». Булгакова выталкивали из жизни, нанося смертельные раны. Он выдержал благодаря женщинам, бывшим рядом, — Тасе, Любе, теперь его привязывали к жизни сильнейший накал любви и роман, который он писал о ней и обо всем, что выстрадал.

Любови Евгеньевне хватало сил и юмора, чтобы переносить шумные скандалы, вспыхивающие внезапно. Она знала: нервы Михаила перенапряжены, и, успокоившись, он будет просить прощения. Вот расшвырял книги, бумаги, кричит, что не нужен никому… И затих, свернувшись под одеялом, — думает. Потом перебрался за письменный стол, включил лампу и начал писать. Распахнув двери в кабинет, Люба увидела худую спину в накинутой поверх косоворотки штопанной безрукавке.

— К нам гости, Мака! Ляля зашла — принесла для меня французские духи. Ей в посылке прислали. — Люба поднесла к носу мужа изящную коробочку: — Понюхай!

— Пахнет счастьем нездешним! — Вошедшая Елена протянула руку. — Извините, Миша, что ворвалась без приглашения.

— Это чудесно, чудесно, — мог только выговорить он, целуя руку Шиловской. — Рад видеть.

— Пишете, Миша? — В голосе Лены прозвучал упрек. — В

городе черт знает какие слухи ползут — то ли утопился, то ли застрелился. Вся Москва в волнении. — Она шутила, а в черных глазах, устремленных на его запавшие скулы и взъерошенный ежик, стояли слезы.

— Садитесь, дамы, и слушайте! «Хотел я в море утопиться — вода холодная была. Хотел я с горя удавиться — меня веревка подвела»! А дело, собственно, в том, что мой дух противоречия живуч, как бродячая собака, — не позволяет сдаваться. Орудие писателя — перо. Обмакнул — и снова в бою. Пишу пьесу о Мольере — но какую! Это не наган там какой-нибудь — это царь-пушка. Называется «Кабала святош» — эго такое религиозное общество при Людовике вроде нашей Лубянки.

А теперь внимательно слушайте, вот правлю любопытную сцену — заседание Лубянки, пардон, Кабалы по поводу безбожника Мольера. Я зачту коротко диалог членов этой всесильной секты, выступающих под кличками.

ВЕНЕЦ. Ядовитый червь прогрыз ход к подножию трона и обольстил сердце государя…Что же делать нам, братья?

СИЛА. Позвольте, я скажу. У меня созрел проект. Я неоднократно задавал себе вопрос и пришел к заключению…

ЧАША. К какому заключению вы пришли, брат Сила?

СИЛА. А вот к какому: что все писатели — безбожники и сукины дети.

ЧАША. Сильно, но верно сказано.

СИЛА. Зададим себе вопрос, может ли быть на свете государственный строй более правильный, нежели тот, который существует в нашей стране? Нет! Такого строя быть не может и никогда на свете не будет… И вот вообразите, какая-то сволочь, каторжник является и, пользуясь бесконечной королевской добротой, начинает рыть устои царства…

— Ну, это только выдержка. Как вам? — Михаил посмотрел на слушательниц. Бесконечная печаль отразилась на их лицах.

— Не пойдет? Мольера Кабала приговаривает к смерти. — Михаил хохотнул. — Снова «антисоветские нападки»?

— Миша, ты бесконечно наивен или бесконечно смел, — вздохнула Люба.

— Собственно, это черновой вариант — я спускаю пар. Все будет изложено изящней и аккуратней. И сложнее, уверяю вас!

— Все равно, это не за здравие, а за упокой. За упокой того строя, который и называть не надо. — Елена Сергеевна покачала головой. — Но писать просто необходимо. Я уверена, что множество людей думают так же и пьеса нужна им. Только…

— Ее не пустят? И никто не узнает, что думает «идеологический враг» Булгаков.

— Надо непременно дописать и отнести в театр! Завтра я привезу сюда свою машинку — вашу пора отнести на свалку, — и буду печатать пьесу. Идет?

Елена Сергеевна перевезла на Пироговку отличную немецкую машинку и стала печатать под диктовку автора рождающуюся на ее глазах пьесу. Оказалось, что этот процесс способен сблизить мужчину и женщину лучше всего, сделать из влюбленных единомышленников. Михаил поражался тому, как нашел в апартаментах высокого военного чина не только любящую женщину, но преданнейшего друга. Елена верила в силы своего возлюбленного и ненавидела вместе с ним.

19 января 1930 года на заседании литературно-репертуарного комитета МХАТа Булгаков рассказал о пьесе и ее замысле. В протоколе зафиксировано: «Автор хотел написать пьесу о светлом ярком гении Мольера, задавленного черной кабалой святош. При полном попустительстве абсолютной удушающей силы короля». Совещание дало положительную оценку пьесе, но… История повторялась с упорным постоянством. Он писал, надеясь выкарабкаться, а его отшвыривали за ненужностью.

18 марта 1930 года Булгаков получил извещение Главреперткома о том, что пьеса «Кабала святош» запрещена к постановке.

10

28 марта 1930 года Булгаков пишет письмо Правительству СССР.

> «Правительству СССР:
>
> После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я был известен как писатель, стали раздаваться голоса: сочинить «коммунистическую пьесу», а, кроме того, обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик.
>
> Цель: спастись от гонений нищеты и неизбежной гибели в финале.
>
> Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед правительством СССР в

выгодном свете, написав лживое письмо. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет…»

Булгаков приводит многочисленные примеры несправедливой критики, говорит, что борьба с цензурой, какой бы она ни была и при какой бы власти ни существовала, его писательский долг, так же как и призывы к свободе печати.

«… Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если бы кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода. Вот одна из черт моего творчества. Но с первой чертой связаны все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: черные и мистические краски (я — МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта. Яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное — изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшее страдание моего учителя М.Е. Салтыкова-Щедрина….»

— Наговорил — на три вышки… — С содроганием прочла Люба огромный текст. — Неужели не понимаешь, что сам себе обвинительное заключение строчишь?

— Если честно, я только Сталину верю. Окружен он гадами, кровососами. Подумай сама, мог бы человек, не чувствующий сердцем человеческое благородство и чужую боль, 15 раз «Турбиных» смотреть? Мне больше не на кого надеяться.

Наивность Булгакова ставит в тупик. Он — прозорливый, непримиримый враг советской государственности — доверился вождю! А может, это уже задним числом, зная «список благодеяний» беспримерного кровопийцы, мы поражаемся доверчивости Булгакова? Сталину в те годы верили многие, верили и тому, что зажимает его добрую волю злостное окружение. Булгаков видит в Сталине человека, не способного на злодеяния и репрессии. С мучительной откровенностью он объясняет Иосифу Виссарионовичу свою гражданскую позицию сатирика, благотворную для будущего очищающейся от язв страны.

И жалуется — открыто и доверительно, как другу.

«…Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие, и будущие. И лично я своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа о театре.

Все мои вещи безнадежны…

Я прошу Советское Правительство принять во внимание, что я не политический деятель, а литератор, и что всю мою продукцию я отдавал советской сцене.

Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равна для меня погребению заживо.

Я ПРОШУ ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ПРИКАЗАТЬ МНЕ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПОКИНУТЬ ПРЕДЕЛЫ СССР…

Далее, ежели это невозможно, я прошу предоставить мне любую работу в театре — режиссера, актера, работника сцены…

Ежели и это невозможно, я прошу Советское Правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня В ДАННЫЙ МОМЕНТ — нищета, улица и гибель».

Он не обдумывал фраз. Обращение к Сталину — сплошной крик боли и отчаяния. Послание было отправлено в 7 разных адресов, а экземпляр, предназначенный Сталину, передан лично через заместителя директора Большого театра.

Прошло 20 дней напряженного ожидания. Именно того рискованного междувременья, когда шансы «пан» или «пропал» с равной возможностью могли оборвать или продлить жизнь.

11

Михаил напряженно ждет ответа. Безрезультатно. В доме траурный мрак, изрядно надоевший Любе.

Муж постоянно задавал один и тот же вопрос:

— Почему Сталин раздумал встречаться со мной?

— Сотый раз объясняю: а о чем он мог говорить с тобой? Ведь он прекрасно понимал после твоего письма, что разговор будет не о квартире, не о деньгах, — разговор пойдет о. свободе слова, о цензуре, о возможности художника писать о том, что его интересует. А что он будет отвечать на это?

— Тебе совершенно безразлично мое состояние! Ни капельки не волнуют мои проблемы!

— Все «мое», «мое»! А я где? Кто спрашивает, какие заботы у

меня? Если б я не нашла свои собственные «проблемы», то сошла бы с ума! — Люба ушла, хлопнув дверью.

Она продолжает вести светский образ жизни. Держала в манеже свою лошадь, училась водить авто.

В доме появились незнакомые, раздражавшие Булгакова люди, — жокеи, инструкторы манежа, будущие шоферы. «Смычка интеллигенции с рабочим классом состоялась», — горько шутил Михаил и уходил из дома.

— Кажется, мне пора вообще отсюда вытряхиваться. Неужели ты думаешь, что я могу писать, когда в соседней комнате постоянный гвалт?

— Ничего, ты же не Достоевский! — беспечно бросила Люба. И тут же пожалела: Михаил мгновенно стал чужим. Непроницаемое лицо камикадзе. Не слыша, как она что-то бормотала о прощении, он ушел. Не закрыл за собой дверь и не оглянулся, пересекая двор, как делал всегда. «Ушел навсегда» — камнем легло на плечи. Скорчившись в кресле, она зарыдала.

Михаил физически задыхался в тупике, в который его загнали. «Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось — и я не мог от этого отделаться, — что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать и что их ярость вызывается именно этим, а затем, представьте себе, наступила третья стадия — страха… Так, например, я стал бояться темноты… Словом, наступила стадия психического заболевания. Стоило мне перед сном потушить лампу, как мне казалось, что через оконце, хотя оно и было закрыто, влезает какой-то спруг с очень длинными и холодными щупальцами».

Мастер в романе Булгакова и он сам порою сливаются в одну личность. И то, что случилось с автором в самый страшный день его жизни, описано Булгаковым в катастрофе его героя. Больше он никому не доверил свою тайну.

Уйдя из дома, Михаил забился в подвал, служивший местом свиданий с Еленой. Впервые не сумел побороть страх темноты и наваливающегося ужаса. Как же хотелось позвать ее, хотя бы услышать ее голос! Прижаться, спрятаться, умолять спасти… Уходить из жизни одному, зная, что она совсем рядом и мучается, думает о нем, — очень страшно. А он решил уйти. Именно так — одиноким, не топя и ее. Он достал спрятанный под тахтой револьвер и стал перебирать принесенные сюда рукописи. Мелькали слова, фразы, звучали голоса, всплывали события,

предметы, звучала музыка — созданные им миры, обреченные на уничтожение, молили о жизни. Мощным рывком он разорвал рукопись «Консультанта с копытом»… В мозг вонзилась игла, почернело в глазах…

Он лег на тахту и заснул, не зажигая лампы. Проснулся от ощущения, что спрут здесь… Ему вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекла, вольется в комнату, и он захлебнется в ней, как в чернилах… У него хватило сил добраться до печки и разжечь в ней дрова. Он открыл дверцу так, что жар начал обжигать лицо и руки, и шептал:

— Догадайся, что со мной случилась беда. Приди, приди, приди!

Но никто не шел. В печке ревел огонь, в окна хлестал дождь. Тогда случилось последнее. Он вынул, собрал тяжелые стопки пьес и романов и начал сжигать их.

В это время кто-то стал тихо царапаться в окно. Кирпичные ступени вели из подвала на двор. Спотыкаясь, он подбежал к двери и тихо спросил:

— Кто там?

И голос ее ответил ему:

— Это я.

Она пришла к нему вся мокрая, с мокрыми щеками и развившимися волосами, дрожащая… Она освободилась в передней от пальто и быстро вошла в комнату. Тихо вскрикнув, она стала голыми руками выбрасывать из печки на пол обгоревшие рукописи. Потом увидела приготовленный револьвер.

— Ты… ты задумал… — Она схватила оружие. — Я выброшу его в пруд! Не смей! Не смей никогда! Я не останусь без тебя. Я…

О, слезы любимой на прильнувшей щеке, соленые и теплые… Жить.

12

Сталин позвонил через 18 дней после того, как ему передали письмо Булгакова. Ровно на следующий день после похорон Маяковского. Словно почувствовал, что совсем некстати сейчас и второго писателя хоронить.

Люба с перевернутым лицом позвала мужа к телефону, шепнув:

— Из ЦК звонят!

— Михаил Афанасьевич Булгаков?

— Да, да!

— Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить.

— Что? Сталин? Сталин? — Не верил своим ушам Булгаков.

И тут же услышал голос с явно грузинским акцентом:

— Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков.

— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович!

— Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благополучный ответ иметь… Правда, вы проситесь за границу. Что, мы вам очень надоели?

Не ожидая вопроса, Михаил на секунду растерялся и ответил вполне достойно:

— Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.

— Вы правы. Я тоже так думаю. А вы где хотите работать, в Художественном театре?

— Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.

— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами.

— Да, да! И мне очень нужно с вами поговорить.

— Да, нужно найти время и встретится обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего.

…Свершилось! Он сказал: «Поговорить надо»! Поговорить! Конечно же — вот выход: откровенно рассказать Сталину все! Тогда он поймет, защитит и никто не посмеет швырять в Булгакова камни!

Едва переборов ошеломление от разговора и наскоро пересказав его Любе, Михаил позвонил Елене Сергеевне. Трубку взял Шиловский.

— Это Булгаков… Простите, Евгений Александрович, мне срочно надо поговорить с Еленой Сергеевной!

И, едва она подошла к телефону, выпалил:

— Мне Сталин звонил!

Выглядел он странно, был похож на тяжелобольного, получившего известие о скором избавлении от мук. Но разговора не получилось. Видимо, Елена заплакала, потому что он ничего больше не сказал и тихо опустил трубку на рычаги.

— Поспешил со своей генеральшей радостью поделиться? — вспыхнула Люба. — Думаешь, я слепая? Я же все вижу. И как ты мучишься, вижу. И что понапрасну надеешься. Не оставит она ради тебя свою сладкую жизнь. Зря рассчитываешь.

— А это мы еще посмотрим. — Он ушел в свой кабинет, туго закрыв за собой тяжелую дубовую дверь. Слышал, как ушла Люба, с обидой топая каблучками.

Потом то ли спал, то ли бредил, но вдруг услышал голоса совсем рядом: мужской грозный и ЕЕ — молящий.

Он вбежал в гостиную и одним взглядом охватил странную картину: Евгений Александрович Шиловский в полном генеральском мундире стоял в центре комнаты, а на его руке повисла Елена — растрепанная и заплаканная:

— Миша… Дверь была открыта… Извини! — Она быстро посмотрела ему в глаза, и он сразу понял все и оцепенел.

Они общались семьями: дружеские визиты в семью Шиловских были не редкостью, но, как правило, с Любой, исполнявшей роль подружки Елены, и с полным соблюдением конспирации. Спектакль как бы смахивал на водевиль, и можно было выехать на юморе, превращающем ложь в общую игру. И вот теперь стало ясно: ложь явилась ничем не прикрытая и оказалась разрушительной. В единую секунду Михаил понял то, что обдумывал с разных сторон множество раз, поворачивал то так, то этак, но не мог до конца уяснить. Сейчас определилось бесповоротно: счастливый брак Шиловских обречен. И погубил семью он.

— Собственно… собственно, — пробормотал он, — Люба скоро вернется. Я к вашим услугам. Присаживайтесь.

— Уверен, вам есть что сказать мне, товарищ Булгаков… — сквозь зубы проговорил Шиловский, продолжая стоять.

— Есть! Есть… — По бледному лицу Михаила прошла судорога. — Дело не в звонке Сталина. Важнее другое… Евгений Александрович, я должен поговорить с вами… Давно должен…

Шиловский налился кровью — сегодня, после звонка Булгакова и рыданий Елены, ситуация обрисовалась с предельной ясностью: его жену и Булгакова связывают близкие отношения. Лена ни в чем не призналась — лишь молчала и плакала. А значит, этот бойкий фигляр соблазнил ее! Выбора у Шиловского не было. Он открыл портупею и привычной рукой достал именной пистолет. Затем набрал полную грудь воздуха, подождал, пока утихнет бешено запрыгавшее в груди сердце. Проговорил почти спокойно:

— Благодарю, что наконец-то решились разорвать эту мучительную ложь. Лена, я не виню тебя. Если женщина не верна мужу, то это плохой муж. Но у меня достаточно сил, чтобы защитить свою честь. — Он навел пистолет на соперника:

— Господин Булгаков, защищайтесь.

— Но… — Михаил похлопал себя по карманам. — Я, к сожалению, безоружен.

— Женя, пожалуйста, возьми себя в руки! — взмолилась Елена Сергеевна.

— Тогда я убью его, как бешеную собаку! — Обманутый муж схватил со стола нож.

Елена бросилась наперерез:

— Женя, прости меня! — Она зарыдала. — Я уважаю и люблю тебя… Но я… я полюбила другого… И это никак нельзя изменить.

Шиловский растерялся — да, он подозревал, что Елена увлечена, но не до такой же степени… «Полюбила другого…» Это же развод? Развал семьи, крушение всей жизни? Она что, с ума сошла? Пристрелить соблазнителя — дело чести. А потерять любимую жену… Позор, позор… Да не может этого быть!

— Господин Булгаков, Елена Сергеевна, видимо, не в себе. Я хочу услышать от вас, что происходит? — спокойно и ровно проговорил Евгений.

Булгаков опустил глаза. Елена, поникнув, молчала. Любовники были явно подавлены своей виной и случившимся разоблачением.

Шиловский принял мгновенное решение — он был хороший стратег, умеющий правильно использовать ситуацию. Противник в смятении, растерян, а значит, надо немедленно идти в наступление и предъявлять ультиматум, который он давно обдумал.

— Это очень тяжело, но я постараюсь простить тебя, Елена. Я не буду преследовать местью господина Булгакова. Но с этого момента требую от тебя и этого господина прекращения всякого рода контактов: свиданий, переписки, даже телефонных разговоров.

Два поникших человека не возражали, лишь молча кивнули в ответ. Булгаков не поднял головы, даже когда за ушедшими закрылась дверь.

Лучше бы он выстрелил… К чему жить, если потеряно все? Но ведь то, что случилось, — благо для Елены. Она будет тосковать, но постепенно все забудется, войдет в прежнюю колею. Шиловский — надежный человек, отличный отец… Что произошло бы, если бы сейчас он, Булгаков, не смолчал, а решительно забрал у соперника любимую женщину? На что обрек бы Елену нищий отщепенец, куда пошел бы с ней? — В этот момент он понимал, как отчаявшиеся люди рвут на себе волосы. Желание наказать себя за свершенные ошибки было мучительным, воющим, неизбывным. Как подло они обманывали Шиловского! Как гадко вел себя Михаил, столько времени скрывая от мужа Елены свои чувства, разыгрывая за его спиной сцены неземной любви! Если уж такая вечная и верная любовь, то не пятнает ли ее нелепый адюльтер? Не лучше ли было жить в подвале, в нищете, но честно и главное — вместе! Жить в подвале? Елене?! Хорошо бедствовать ему — мужчине, привыкшему к бытовым тяготам, но взвалить на плечи этой

ароматной, нежной, как оранжерейный цветок, женщины керосинки, стирки в дешевом мыле, очереди за продуктами, копеечную экономию? Убийство, хуже, чем убийство… Елена тоже смолчала, согласилась на ультиматум мужа, означающий разлуку с любимым, не побежала за ним в неизвестность. Мучительный выбор, ведь Евгений — человек исключительной доброты и порядочности, в их семейной жизни не было и тени недопонимания. Ну почему же так вышло? Откуда свалилась эта оглушительная, невероятная любовь? Ради нее — на край света бежать. Так нет — смалодушничала, осталась.

13

Муки Булгакова были страшны — он чувствовал себя виновным в разлуке с Еленой. Он метался в тисках депрессии, пытаясь хоть как-то выбраться из нее. Бежать от всего подальше — вот спасенье! И опять надежда одна — Сталин. Единственная «соломинка» для утопающего. В это время он пишет Вересаеву:

«Дайте совет: есть у меня мучительное несчастье. Это то, что не состоялся мой разговор с генсеком. Это ужас и черный гроб. Исступленно хочу видеть хоть на короткий срок чужие страны. Я встаю с этой мыслью и с нею засыпаю. Ведь он же произнес фразу «быть может, вам действительно нужно ехать за границу?». Он произнес ее! Что произошло, ведь он хотел принять меня…»

Тон письма — крик утопающего, чувствуется одержимость, последняя надежда спастись. Ему нужно сбежать от всего — от разлуки с Еленой, от задыхания в кольце «спрута»-убийцы. Порыв вырваться за границу — это теперь скорее навязчивая идея, преследовавшая его с времен гражданской войны, чем оправданная конкретными надеждами цель. От себя не убежишь.

Он снова пишет Сталину, повторяя просьбу о встрече.

«Я не позволил бы себе беспокоить Вас письмами, если бы меня не заставила сделать это бедность. Я прошу Вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая. Средств к спасению у меня не имеется».

И верит — теперь-то генсек, сам заговоривший о необходимости разговора, откликнется.

Булгаков буквально сходил с ума в ожидании ответа и даже хотел послать телеграмму:

«Погибаю в нервном переутомлении. Смените мои впечатления на три месяца. Вернусь!»

Что за убийственная наивность, какое стойкое

помешательство и какая садистская ухмылка вождя.

Михаил часто переписывался с братом Николаем — преуспевающим микробиологом, живущим в Париже. По мере возможности помогал материально младшему брату Ивану, игравшему в парижских клубах и ресторанчиках на балалайке. Иногда просил Николая походатайствовать за гонорары его зарубежных издателей, прислать сигарет и пару чулок Любе. В этот год письма брату — вопль откровенного ужаса, не скрытого попыткой юмора.

> «Дорогой Никол!
>
> …Все мои пьесы запрещены к представлению в СССР, ни одной строчки не напечатано. В 1929 году совершилось мое писательское уничтожение… я сделал последнее усилие и подал Правительству СССР заявления, в которых прошу меня с женой выпустить из страны на любой срок. В сердце у меня нет надежды… вокруг меня уже ползет змейкой темный слух о том, что я обречен во всех смыслах.
>
> Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос моей гибели всего лишь вопрос срока, если, конечно, не произойдет чуда. Но чудеса случаются редко».

Но телефонный разговор с вождем изменил положение Булгакова. Тяжкая атмосфера, которая душила все его начинания, разрядилась. Резко изменилось отношение во МХАТе.

В театре его встретили с распростертыми объятиями, зачислили ассистентом-режиссером, правда, на мизерное жалованье. Булгаков с головой окунулся в жизнь театра. Как некогда при постановке «Дней Турбиных», он сам участвовал в репетициях своей пьесы «Мольер», инсценировке «Мертвых душ» Гоголя. В спектакле «Пиквикский клуб» по Диккенсу выступил и как актер, сыграв с блеском эпизодическую роль Президента суда. Ярко гротескный образ чудовищного паука-судьи, нависавшего в своей черной мантии над конторкой, запомнился зрителям и создал своеобразную традицию в исполнении этой роли.

Ему пришлось пойти на компромисс — внести в пьесу «Кабала святош», разрешенную вдруг к постановке под названием «Мольер», некоторые изменения, а инсценировку «Мертвых душ» и вовсе превратить в хрестоматийный вариант.

По предложению МХАТа Булгаков взялся за инсценировку «Мертвых душ» лишь из любви к Гоголю и театру. Желание увидеть персонажей повести в исполнении актеров МХАТа победило его недоверие к инсценировкам, и он начал

фантазировать. По замыслу Булгакова, действие должно было начинаться в Риме (где писал свою поэму Гоголь). Оттуда, из дымки возникал трактир и отправлявшийся на поиски мертвых душ Чичиков…

План МХАТу не понравился: они хотели инсценировку добротно хрестоматийную: картины — иллюстрации к тексту. Преодолев себя, Булгаков стал работать над измененной инсценировкой с режиссером Сахновским. Спектакль вышел, имел успех, но вскоре был снят, несмотря на блестящую игру актеров, — отношение к Гоголю в верхах власти изменилось.

14

В доме Шиловских все шло по-прежнему. Евгений Александрович был ласков и заботлив с детьми и женой, Елена Сергеевна старалась придерживаться прежнего образа жизни. И оба аккуратно обходили больное место — каких-то намеков на случившееся.

Она целыми днями, как тень, слонялась по дому, думая лишь об одном. На душе тревожно, темно… Не видела Мишу восемнадцать месяцев, поклялась Жене, что не примет ни единого письма, не подойдет ни разу к телефону, не выйдет на улицу. Сама себе тюрьму устроила. Виновата ведь страшно, лучше Жени человека трудно представить. Но тоска, тоска!

«— Я верую! — шептала Маргарита торжественно, — я верую! Что-то произойдет! Не может же не произойти, потому что за что же, в самом деле, мне послана пожизненная мука? Сознаюсь в том, что лгала и обманывала и жила тайною жизнью, скрытой от людей, но все же нельзя за это наказывать так жестоко. Что-то случится непременно. Потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно».

Так шептала Елена Сергеевна, расчесывая перед тройным зеркалом короткие завитые волосы. Жизнь проходит. Еще немного — и старуха. Даже смотреть на себя не хочется.

Осень — первый день сентября. Под окнами их подвального убежища покраснела рябина и кусты все в белых ягодах. Все прошло… И душно, душно!

В передней она накинула пыльник, всунула ноги в какие-то туфли.

Очнулась на улице от автомобильных гудков. Огляделась, не понимая, что происходит, разглядывая дома, машины, как в чужом городе. Стояла посреди тротуара. Ее обходили, кто-то из соседей поздоровался. И вдруг рядом, почти вплотную, вырос

человек с сумасшедшими светлыми глазами, в которых плясали, сталкиваясь и высекая искры, великое отчаяние и великая радость. Человек, без которого она могла бы умереть.

— Я не могу без тебя жить, — сказал он.

— Я тоже.

6 сентября 1932 года Булгаков пишет Шиловскому:

«Дорогой Евгений Александрович!

Я виделся с Еленой Сергеевной по ее вызову. Мы объяснились с нею, мы любим друг друга, как любили раньше. И мы решили пожениться».

Люба поняла ситуацию правильно. Ведь все это время разлуки с Еленой Михаил жил кое-как, вернее — доживал, теряя силы, интерес к жизни, даже к писанию. Люба покричала, поплакала, попричитала. Потом все решили по-деловому: Михаил снял Любе комнату неподалеку. Елена с младшим сыном Сережей переехали на Большую Пироговскую.

— Не обижайся, Любан. Мы будем часто общаться и помогать тебе материально до тех пор, пока ты будешь в этом нуждаться.

— И развод немедленно?

— Мы хотим «обвенчаться» в ЗАГСе как можно скорее.

— Это невероятно, — говорила Елена сестре, сияя глазами. — Чуть не два года я не выходила из дома и только вышла — тут же встретила его. Оглушило, как удар грома. Это судьба, ты понимаешь?

— Ну, разумеется! Не сомневаюсь, что он месяцами караулил тебя у дома, — язвительно заметила Ольга и вздохнула. — Такое упорство влюбленного похлеще слепой судьбы. Не каждой перепадает.

Последний приют

Брак с Е.С. Шиловской. Переезд в пристройку писательского дома по улице Фурманова в дом № 3 (до 1926 г. — Нащокинский переулок). Уход из МХАТа, работа в Большом театре. «Театральный роман», пьесы «Пушкин. Последние дни», «Мольер», «Батуми», «Мастер и Маргарита». Болезнь, последний приют

1

14 октября 1932 года Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич стали супругами. Поездка в Ленинград по деловым вопросам

превратилась в счастливое свадебное путешествие. В этом же году Правительство отдало приказ МХАТу о восстановлении «Турбиных». Но Михаила Афанасьевича это событие не порадовало. Поздно. «Французы говорят, что нам часто дают штаны, когда уже нет задницы», — усмехнулся он. Булгаков ждал другого — спасения остальных пьес.

Два года понадобилось, чтобы Булгаковы смогли купить, наконец, небольшую квартиру в пристройке писательского дома в **Нащокинском переулке,** дом № 3. По всей крыше сделали добавочный, не слишком добротный этаж, объединенный общим балконом и общими строительными неполадками. В надстройке жили: К.А. Тренев, В.Б. Шкловский, В.Н. Билль-Белоцерковский. Здесь в 1933 году был первый раз арестован О.Э. Мандельштам, о чем рассказала в своих записках А.А. Ахматова. Дом был снесен в 1974 год)', несмотря на протесты литературной общественности и интеллигенции.

В феврале 1934 года они все же переехали в свой «дом»! С собственным постоянно текущим туалетом и ванной. Правда, вместо 60 кв. метров в трех комнатах Булгакова оказалось всего 47.

Лена с Михаилом и младшим сыном Сережей перебрались в новую квартиру. А старший сын Женя остался у отца, но часто приходил к ним и очень привязался к Булгакову.

Шиловский оказался человеком чести, истинным русским офицером. Любя Елену, он отпустил ее, но Булгакова не простил. Однако жене и сыну помогал неукоснительно. Он мог легко убрать Булгакова, оклеветав его политически. Он был номенклатура, а Булгаков — почти диссидент. Но к таким, бытовавшим в то время приемам Шиловский относился с брезгливостью. Он не мог уничтожать соперника «силовым методом» еще и потому, что Булгаков был беззащитен. Шиловский никогда больше не виделся с Булгаковым.

В самом деле, столь внезапно и вроде бы совершенно беспричинно вспыхнувший пожар взаимного чувства оказался редчайшего и наивысшего свойства. Избалованная благополучием номенклатурной среды, Елена Сергеевна отреклась от былых привилегий легко и радостно. А радость, и сила, и убежденность в уникальности своей женской судьбы пришли от того, что подруга Мастера мгновенно и полно разделила с ним его долю, его убеждение, его символ веры.

Много лет спустя Елена Сергеевна напишет: «Откуда были эти мысли? И чувства? Теперь я понимаю, почему у меня была тогда такая смелость, такая решительность, что я порвала всю эту налаженную, внешне такую беспечную, счастливую жизнь и ушла

к Михаилу Афанасьевичу на бедность, на риск, на неизвестность».

— Москва в грязи и все больше в огнях — в ней странным образом уживаются два явления: наслаждение жизнью и полнейшая гангрена. В центре Москвы, начиная с Лубянки, Водоканал сверлит почву для испытания метрополитена. Это жизнь, но метрополитен не будет построен, потому что для него нет никаких денег. Это гангрена. Разрабатывают план уличного движения. Это жизнь. Но уличного движения нет, потому что не хватает трамваев, — 6 автобусов на всю Москву. Квартиры, семьи, ученые, работа, комфорт и польза — все это в гангрене. Ничего не двигается с места. Все съела советская канцелярская адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина — это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда месяцы. Магазины открыты. Это жизнь, но они прогорают, и это гангрена. Во всем так. Литература ужасна… Извини, Лена, бубню и бубню занудную чушь. А надо-то всего два слова: я счастлив.

С балкона пристройки открывался вид на московские крыши, ветерок приносил запах асфальта, тополиных почек, жарившейся у соседей Габриловичей картошки. Они вдвоем, и на балконном парапете лежат две неразлучные руки.

— Я был один, против меня был весь мир. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно. Ничего не страшно, — повторил он, удивившись полной правдивости своего утверждения: страха не было. — Вот хоть пройтись по парапету попроси — не дрогну.

— Я попрошу другое. — Елена заглянула в глаза мужа, вмиг насторожившиеся. — Тот револьвер… Давай выбросим его вместе.

— Я уже сделал это — забросил в пруд у Новодевичьего монастыря. Утопил горе… Очень люблю это место — особенно в мае.

— А я люблю все, что любишь ты. И знаешь почему? Ты удивительный, и ты всегда прав.

У Елены Сергеевны не было ни малейших сомнений в правоте мужа, в исключительности его человеческих и творческих достоинств.

«Мне выпало на долю невероятное, непонятное счастье — встретить Мишу. Гениального, потрясающего писателя, изумительного человека» — так напишет она, когда его уже не будет на свете.

Пусть их обиталище не было столь удобным и шикарным, как дом Шиловских, Елена Сергеевна сумела сделать все, чтобы превратить плохонькую чердачную квартиру в уютный дом, и атмосферу в нем устроить радостную, насыщенную светом любви и взаимопонимания.

Внешний и внутренний облик жизни Булгакова переменился

— это замечали все, приходящие к ним. В квартире чинно и красиво, синий кабинет Мастера, уютная комната Сережи, гостиная, в которой всегда ждали друзей. Хозяйке — по-прежнему элегантной, изящно причесанной, помогала домработница.

Они оба были счастливы. Любопытно: в трехкомнатной квартире на Большой Пироговской в прошлом, в годы его брака с Любовью Евгеньевной, у Любови Евгеньевны была отдельная небольшая комнатка. В трехкомнатной квартире в Нащокинском у Елены Сергеевны отдельной комнаты не было: Елена Сергеевна была всюду. В единственной просторной — столовой-гостиной, где вскоре появился рояль, оттеснив к стене обеденный овальный стол и в угол — рабочий столик-бюро Елены Сергеевны (почему-то называвшийся «Психеей»), Из столовой налево — маленькая комната Сережи, тоже, разумеется, царство Елены Сергеевны. А направо из той же столовой — дверь в кабинет, служивший одновременно супружеской спальней. («Что касается кабинета, то ну его в болото! Ни к чему все эти кабинеты», — писал Булгаков Попову.)

В этой комнате у окна — старый письменный стол, а вскоре его заменило прекрасное «александровское» бюро, любовно купленное Еленой Сергеевной на какой-то дворцовой распродаже. Теперь Булгаков обыкновенно работал за массивной откидной доской бюро. У глухой торцовой стены этой вытянутой к окну комнаты располагалась тахта-постель. Лежа на этой тахте, больной Булгаков диктовал Елене Сергеевне. Здесь, умирая, шептал ей последние слова любви: «Королевушка моя, моя царица, звезда моя, сиявшая мне всегда в моей земной жизни…» Здесь ей потом снился…

2

Елена со всей искренностью хотела расположить к себе тех немногих друзей Михаила, которые остались от прежней жизни. И они пошли навстречу, появилось множество новых замечательных знакомых — Булгаковы притягивали талантливых людей. Михаил изменился, нервная возбужденность и желчность исчезли, вернулось желание играть, превращать будни в праздник. Можно было подумать, что его жизнь круто изменилась, исчезли горести и угрозы.

Увы, положение писателя оставалось критическим. Но появился дом, и этот дом жил его тревогами и надеждами. Появился дом, где он чувствовал себя не гонимым изгоем, а талантливым писателем, не имеющим права сомневаться в своем

назначении. Булгаков — писатель. И это его дело на земле, не зависящее ни от одной власть имущей марионетки, ни от капризов чиновников, ни от зависти «коллег».

Это преображение свершила Любовь — та, что неизменная и вечная. Вопреки враждебной действительности, вопреки любым обстоятельствам. «Счастье начинается с повседневности. Славьте очаг!» — это наставление часто повторяется в письмах Булгакова этого периода.

Дом их, словно назло всем вражеским стихиям, сиял счастьем и довольством. А были одни лишь долги при самом туманном будущем.

Вокруг его дома штормило. Но все равно это был радостный, веселый дом.

Михаил Афанасьевич жил и работал, несмотря ни на что. Творческая энергия не покидала его — ведь рядом была Елена, а в ящике стола хранился Главный роман, о котором все помыслы, все тревоги.

Михаил держался изо всех сил — много работал, постоянно возвращался к Главному роману, но Елена Сергеевна видела, что его нервы требуют серьезного внимания, а он сам нуждается в отдыхе. И она отважно взялась вести непростые дела мужа. Во-первых, писать дневник. После конфискации дневника в 1926 году Михаил отказался от ежедневных записей, теперь обязанность бытописателя перешла к Елене. При насыщенной событиями жизни это было вовсе непростым делом. И во-вторых, в соответствии с полученной доверенностью, она вела все дела мужа — от заключения договоров до получения гонораров. Казалось бы — пустяки. Но в архивах Булгакова были обнаружены кипы договоров — с киностудиями, театрами, издательствами, которые так и не реализовались после длительных обсуждений и препирательств в разных инстанциях. И хуже того — были погребены уже начатые или почти завершенные произведения. Только теперь стало понятно, сколько интересных замыслов Булгакова погибло по вине трусливых чиновников, закосневшей бюрократии. Да и то, что удавалось в конце концов «пробить», выходило к зрителю в сильно измененном виде. От первоначальных задумок смелого, неординарного и уж вовсе не стандартно идеологизированного писателя оставалось немногое.

Как-то в октябре 1934 года Михаил сказал жене:

— Решился писать пьесу о Пушкине. — Помолчал, а потом добавил: — Конечно, без Пушкина.

Договор на постановку Булгаков заключил с театром Вахтангова и Красным театром в Ленинграде.

Одновременно Булгаков работал над комедией «Иван

Васильевич», в которой фантастически переплеталась сатирически поданная современность и эпоха Ивана Грозного. Эта пьеса была отдана Камерному театру, хотя писалась для театра Сатиры.

Мхатовцы обиделись:

— Почему же эту комедию вы не отдали нам? Это же плевок Художественному театру.

— Да вы что, коллекционируете мои пьесы? У вас лежат «Бег», «Мольер», «Война и мир». «Мольера» репетируете четвертый год. Теперь хотите новую комедию сгноить в портфеле?

Конфликт с МХАТом назревал все сильнее. Точку в этой печальной истории поставила история с «Мольером».

Пьесу репетировали уже четыре года.

Наконец, в 1936 году состоялся просмотр. Зал был нашпигован знатными лицами и представителями московской интеллигенции. Успех был огромный, занавес поднимался чуть не 20 раз, на поклон выходил вызываемый овациями автор.

На следующий день посыпались уничижительные отзывы и появилась статья в «Правде» «Внешний блеск и фальшивое содержание».

— Это значит — конец «Мольеру» и «Ивану Васильевич)». — Михаил передал газету жене.

Елена Сергеевна отбросила листы:

— Участь твоя мне ясна — ты будешь одинок и затравлен до конца дней. Нет, не одинок. Мы будем вдвоем. И все переживем вместе.

После шестого представления спектакль сняли.

«Это кладбище моих пьес. После гибели «Мольера» стало совсем уж невыносимо!» — сказал Булгаков, подавая заявление об уходе из театра.

П.А. Марков сформулировал отношения Булгакова с МХАТом так: «Это была дружба страстная, сильная, часто мучительная, но абсолютно неразрывная, порой доходившая — как в постановке Мольера — до трагического взаимонепонимания».

Многие актеры оставались близкими друзьями Булгакова до последнего дня, но случались и обиды — спасал юмор. Если бы не прирожденный склад ума сатирика, он попал бы в Кащенко, как его Мастер. Ум провидца и смех «человека со стороны», зрителя этой «человеческой комедии» — вот что не дало Булгакову сойти с ума или броситься вниз головой с моста.

Обидно, выть хочется, а он пишет другу:

«Сегодня у меня праздник. Ровно 10 лет назад совершилась премьера «Турбиных». Сижу у чернильницы и жду, что откроется дверь и появится делегация от Станиславского и Немировича с

адресом и ценными подношениями. В адресе будут указаны все мои искалеченные и погубленные пьесы и приведен список всех радостей, которые они мне доставили за 10 лет в проезде Художественного театра. Ценное же подношение будет выражено в кастрюле какого-нибудь благородного металла (например, меди), наполненной той самой кровью, которую они выпили из меня за 10 лет».

3

Вдруг на столе Булгакова появилась пайка.

— Написал вещицу — так, для себя. Донос. Припомнил байки, которые я постоянно рассказывал про мхатовцев. Да, все припомнил.

— «Записки мертвеца». — Елена Сергеевна открыла папку, посмотрела на листы — строки летели вольно, почти без правки и перечеркиваний.

— Наша с МХАТом история любви. Правда, это только первая часть.

— Дашь им читать?

— Боюсь, кое-кто может обидеться. Хотя, с юмором у этих ребят в основном все в порядке.

Пригласили китов МХАТа. Булгаков начал чтение. Как только слушатели поняли, что это история постановки «Турбиных», стали слушать внимательно, потом хохотали, узнавая описанных персонажей. Хохот не умолкал. Лишь в сцене репетиции с велосипедом, в которой так точно и язвительно автор прошелся по самому священному — основам системы Станиславского, приглашенные притихли. Описание носило характер рискованной насмешки.

Но было понятно, что за безумно смешной пародией скрывается настоящая боль.

Качалов виновато опустил голову:

— Самое страшное, что это наш театр — и это правда, правда!

В «Театральном романе» (Так стали называться «Записки мертвеца») запечатлена история взаимоотношений Булгакова с театром, какой виделась она измученному автору пьесы «Черный снег» Максудову. Бесконечные мытарства с инстанциями, доделками и переделками текста, атмосфера завистничества, общей несуразицы — все ведет к печальному финалу — безысходности, невозможности взаимопонимания. Пьеса не поставлена. Роман не дописан. Максудов едет в Киев и бросается

с моста.

Булгаков переходит в Большой театр на должность редактора либретто.

«Он будет одинок и затравлен до конца дней» — это Елена Сергеевна определила точно. Но знала она с полной уверенностью и то, что время все расставит на свои места и огромная фигура Булгакова-писателя откроется во всем своем величии. Этому она поклялась посвятить свою жизнь. Именно жена была первым, самым внимательным и чутким читателем едва вышедших из-под пера Михаила страниц. И знала — эти строки дорогого стоят: признания потомков, доброй памяти в веках. Только вот до смерти быть ему изгоем, загнанным зверем-чужаком.

Нервная система Булгакова требовала починки, был найден специалист по гипнозу, взявшийся избавить Михаила от фобий — угнетавших его страхов. После сеансов стало легче — прошли головные боли, бессонница, но выходить из дома один он по-прежнему опасался. Силы давала любимая работа.

Булгаков заключил договор на книгу о Мольере в серии «Жизнь замечательных людей» и работал над биографией Мольера со всей основательностью.

Рукопись «Мольера» прочитал Горький и вынес вердикт: «Что и говорить, конечно, талантливо, но если мы будем печатать такие книги, нам попадет».

— Вот у вас рассказ о Мольере ведется от лица некоего рассказчика. Признаться, в его комментариях часто слышится голос самого товарища Булгакова, а мнение товарища Булгакова не всегда совпадает с тем, что хочет узнать о великом французском драматурге советский читатель, — сказали Булгакову в издательстве. — Вам нужно избавиться от этого приема, убрать рассказчика, приблизить повествование к подлинной истории, и тогда…

Михаил Афанасьевич лишь рассмеялся:

— Вы сами понимаете, что, написав свою книгу налицо, я уже никак не могу переписать ее наизнанку. Помилуйте!

Еще одна невостребованная рукопись. Эта великолепная книга вышла в серии ЖЗЛ лишь через 20 лет ценой невероятных усилий Елены Сергеевны.

4

После сеансов гипноза состояние нервов Булгакова настолько улучшилось, что он нашел в себе силы надеть парадный черный

костюм и выбраться с женой на прием в **Американское посольство.** И как оказалось — не зря. Бал сатаны, на который попала Маргарита в романе «Мастер и Маргарита», многое почерпнул отсюда — от этого впечатляюще бредового роскошества.

Булгаков в черном костюме под руку с женой, чудесно выглядевшей в иссиня-черном платье с бледными розами, попал в изысканное общество.

У американцев собрался полный бомонд: самые именитые деятели культуры, видные политики — все при параде, с разряженными в пух и прах супругами.

В зале с колонами происходили танцы в сопровождении хора и оркестра, расположенного на балконе. Со всех сторон танцующих освещали мерцающие разноцветные прожектора. За едва заметной сеткой порхала масса экзотических птиц. Но Михаил не сводил глаз с дирижера.

— Леля, вот это класс!

— Маэстро выписан из Стокгольма. Виртуоз.

— Да ты смотри на его фрак: полы-то до самого полу и взлетают, как крылья ворона. Хочу такой фрак.

Столы для ужина были накрыты в специально пристроенной для этого бала зале. По углам в сетчатых загонах сидели козлята и медвежата. По стенам были развешаны клетки с петухами. И все мерцало свечами. Часа в три заиграли гармоники, запели петухи, и сверху на гостей посыпался дождь роз и тюльпанов, доставленных из Голландии. Елена Сергеевна вернулась домой с огромным букетом тюльпанов.

— Чертовский размах у этих американцев!

— Анафемский! — И Михаил Афанасьевич внес изменения в эпизод бала у сатаны.

Оперу Булгаков любил с детства, работа в **Большом театре** доставляла ему удовольствие. Да и зрителям доставила бы тоже, кабы не постоянная беда — самые интересные планы и задумки Булгакова остаются нереализованными после длительных хлопот и нервотрепки. Он зажигался идеями, увлекал лучших композиторов, он вдохновенно работал, но большей частью — впустую. Замыслы либретто, инсценировки, сценарии, восторги знаменитых людей растворялись как фантомы в туманном мерцании манежного иллюзиона, оставляя лишь очередную царапину на изболевшихся нервах.

Иногда, облачившись в черный костюм и прицепив бабочку, Булгаков ходил на самый старый, чуть ли не дореволюционный спектакль — «Аиду». Говорил, что находит своеобразную поэзию именно в этой обветшалости.

Но что бы ни делал Булгаков, его писательское воображение, его мысли были заняты самым главным делом — последним романом, который долго носил название «Консультант с копытом».

5

В халате и шлепанцах Булгаков расхаживает между столом и тахтой в своем синем кабинете. В его руках тяжелый альбом, лицо бедолаги, схватившегося за гадюку. И этот человек напевает на мотив из «Фауста»: «Он рецензент… убей его, убей!..»

— Миша, ты обещал сегодня после работы полежать. Тебе доктор велел.

— А развлечения? Я сам доктор и знаю, что лучшее лекарство — хороший смех! — Он нарочито клоунски расхохотался. — Столько лет я собирал, читал, вклеивал. А люди писали, печатали! И что мы видим? «Вылазка классового врага», «упадничество и порнография» — это о «Зойкиной квартире»! И еще 296 мерзких, глупых отзывов на мои работы, выдающие все грехи человеческие: трусость, зависть, карьеризм, жадность и прочее… И вот — обрати внимание — всего три положительных! Да воздастся этим храбрым, добрым людям на небесах. Защищая меня, они совершали подвиг.

— Мишенька, прекрати эту пытку.

— Я аккумулирую в себе ненависть и веру в возмездие.

Он встал в позу и поднял руку:

— Я — проклинаемый на всех соборах, верую, что по закону справедливости, равнозначному в своей объективности физическому закону сохранения энергии, все эти отзывы со временем обретут иной знак: плюс и минус поменяются местами, и энергия отрицания для современников обратится в энергию утверждения для людей будущего… О-о-о… — Закусив губу, он схватился за левый бок.

— Пожалуйста, завершим представление. Я потрясена, я полностью верю во все сказанное. — Елена Сергеевна уложила мужа на тахту и накрыла пледом. — Тебе бы вздремнуть, а?

— Мне бы поработать. Я не могу оставить все на суд каких-то там неведомых потомков. Я расправлюсь с ними сейчас. В моем Главном романе будет навек запечатлен собирательный образ критика Латунского, скрестившего в своем имени О. Литовского и А. Орлинского. И ты — ты, моя Маргарита, отомстишь за меня. Сегодня прочел своим мхатовцам окончательный вариант романа… Обмерли.

— Знаю, знаю… Ох, Миша…

Елена забрала злополучный альбом и прикрыла двери в кабинет.

Как нарочно — звонок. Ольга пришла — шляпа в дожде и лицо перевернутое.

— Привет! Все у вас тут в порядке? — Она поспешила снять ворсистый жакет и поставить в угол мокрый зонтик. С момента развала семьи Шиловских она жила отдельно. — Где Михаил?

— Тсс! Отдыхает. — Елена Сергеевна проводила сестру в спальню и присела на пуфик у зеркала. — Садись на кровать, лучше приляг. Вижу: устала.

— И устала и расстроена до чертиков. Из-за твоего гения. Ты же знаешь, как я люблю Мишу! Господи, когда он сделает что-то такое, что будет принято всеми! Да не ордена и Госпремии я для него хочу — покоя! Ведь сплошные нападки и издевательства.

— Ах, Оля, это не жизнь! Это мука! Что ни начнем — все не выходит, все навлекает новые неприятности. И это… — Елена Сергеевна бросила альбом на коврик. — Это обвинительные документы травившим его негодяям. Представь: около трехсот отзывов и рецензий, из них только три положительных. Только три! Какое сердце может это выдержать, какие нервы?

— А тут еще… Ой, я так перенервничала… Михаил читал, как всегда, впечатляюще. Были оба Файко, Марков, Виленкин. Последние главы слушали почему-то закоченев. Все их испугало. В коридоре меня уверяли, что ни в коем случае никому показывать роман нельзя. Могут быть ужасные последствия. Ужасные! — Ольга сделала страшные глаза, но Елену Сергеевну и без того лихорадило. Она зябко закуталась в шаль.

— Здесь у нас всегда сквозняки…Что… Что ты сказала… Никуда не подавать? Господи, он носится с этой книгой 10 лет, а может, всю жизнь. Это его Фауст, его завещание, его лебединая песня… И это — гениально!

— Лена, я понимаю — у вас любовь. Но надо же отдавать себе отчет в происходящем! Этот его роман не что иное, как бессильное злопыхательство больного человека. Я ж своими руками под его диктовку перепечатала весь текст. И представь: ни разу не улыбнулась. — Ольга нервно закурила.

— Не может быть. Ты просто сейчас сердишься.

— Леля, все значительно серьезней, чем мое настроение или мой личный вкус. Послушай доброго совета — уговори его не читать пока нигде. Пусть как бы дописывает. А там… Там будет видно.

— Ольга! — Елена Сергеевна запнулась от растерянности. — Ты…Ты просто ничего не поняла!

— Поняла. И учти, если заварится каша — я здесь ни при чем.

Эту книгу Булгаков читал уже много раз по главам, по мере написания. Родившийся текст словно требовал немедленного слушателя, автор нуждался в реакции близких по духу людей. Уж очень странно рос этот текст — прямо из тайников души и обрастал всем, что оказалось в прожитой жизни самым главным.

Он создал мир, без которого наш нынешний, реальный оказался бы другим — беднее, трусливее, безнадежней. Жизнь в немоте, в ожидании, в неверии, в возмездии — все вложил измученный писатель в своего мастера. А главное — свою жажду высшего заступничества. Явление Воланда в его судьбе и судьбах уничтоженной переворотом интеллигенции было желанным чудом.

Он натравил свою нечистую силу на ОГПУ, сделав Воланда как бы единомышленником Иешуа Га-Ноцри. И небо, и преисподняя сошлись в отмщении за поруганную интеллигенцию. Но все, что могли сделать Воланд и Иешуа, — это убить Мастера и Маргариту и дать им убежище в Вечном покое. На этом свете властвовал Черный властелин, и ни Воланд, ни Иешуа ничего сделать с ним не могли.

Первые главы романа, носившего тогда название «Великий канцлер», были прочитаны десять лет назад **на квартире Попова** в обстановке большой секретности. Немногочисленные слушатели — Попов с женою и Ермолинский — дали по просьбе автора торжественную клятву о неразглашении услышанного. Горели свечи, лицо читавшего было мучительно похоже на Того, распятого на кресте. Местами он переходил почти на шепот. Атмосфера причастности к великому таинству **объе**динила притихших людей, запомнивших на всю жизнь слова, которыми начинался вставной роман: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой…»

Новый Булгаков открылся перед ними.

Михаил возвращался вдвоем с Ермолинским по пустынным арбатским переулкам. Он искоса взглянул на спутника:

— Ну?

— Гениально! — выпалил Сергей со всей непосредственностью.

— Ну, брат, ты решительный критик! — захохотал Булгаков, и его лицо раскраснелось то ли от мороза, то ли от возбуждения. Низко и тускло желтели уличные фонари в морозной мороси, зеркальной чернотой мерцали темные окна, и над всем этим — над крышами, трубами, людскими судьбами — в серебристом сиянии ночи плыли кресты на синих в золотых звездах маковках церкви.

— Побожись! — серьезно потребовал Михаил.

— Клянусь — это совершенно невероятно!

И тут, схватив Сергея за руку, Михаил стал выплясывать нечто невообразимое.

На сверкающем тонким серебром булыжнике кривенького переулка две черные фигуры выламывали «Камаринского», бросая паучьи тени на стены спящих домов.

После, когда Булгаков назвал свой роман «Консультант с копытом», Сергей дал другу важный совет:

— Консультант со сдвоенным пальцем в виде копыта… это уж слишком. Все знают, что у вождя непорядок с пальцами ноги. Непременно найдутся любители отыскивать прототипы, тыкать пальцем. Боюсь, тебе будет трудно отвертеться… Если, допустим, зайдет беседа на Лубянке.

— Эх, Лубянка меня и так достанет. А копыто уберем. В самом деле — глупо даже как-то. Вроде намека.

В 1930 году, в момент душевного кризиса, Булгаков хотел уничтожить написанные главы и уже порвал листы. В 1931 году Булгаков вновь обратился к роману. Работа над второй редакцией проходила вплоть до 6 июля 1936 года, когда была завершена последняя, 37-я глава второй редакции. Булгаков еще не остановился на каком-то одном названии для своего произведения. В качестве вариантов он в процессе работы испробовал «Великий канцлер», «Сатана», «Вот и я», «Шляпа с пером», «Черный богослов», «Он появился», «Подкова иностранца», «Пришествие». Кроме того, писатель вписал подзаголовок: «Фантастический роман», пытаясь более точно указать жанр произведения.

Во второй редакции текст романа был уже довольно близок к опубликованному. Уже в наброске 1931 года в роман вошла Маргарита вместе со своим безымянным спутником, именуемым в дальнейшем Фаустом (это имя встречается лишь в набросках планов) и поэтом, а так же, как и в окончательном тексте, Мастером. Хотя Воланд здесь занимал доминирующее положение в действии и композиции романа, роль Маргариты и ее возлюбленного была значительной.

В октябре 1934 года вторая редакция вчерне была завершена. Мастер играл в романе все более заметную роль, в частности, он заменил Воланда в сцене у постели Ивана в психиатрической лечебнице. 6 июля 1936 года была записана последняя, заключительная глава второй редакции, 37-я по общему счету — «Последний полет».

Это уже был роман «Мастер и Маргарита» — рядом была Елена и лирическая линия, а также тема мести обрели реальное

очертание. Но главы вставного романа отпечатались в памяти намертво и явились на страницы нового варианта почти в первозданном виде.

Булгаков писал веселый роман. Хотя веселье в нем смешивалось с грустью. И все же Булгаков, смеясь, расставался со своим прошлым.

И, может быть, с жизнью.

Как ни страшна эта аналогия, но роман Булгакова и смерть Булгакова стоят рядом. «Мастер и Маргарита» — фантастический роман, пронизанный юмором. Но это и роман о смерти. Страницы его дописывались слабеющей рукой. И заплачено за него было не часами вдохновения, а жизнью автора.

«Последний роман» стал евангелием советской интеллигенции. Сатира, трагедия, сага, фэнтези, эпос, сияние Небытия и последний приговор Бытию. Оправдание и искупление всех совершенных и не совершенных ошибок. Вдохновенная ненависть, разносящая эпоху и державу под гогот игривых чертяк и корчи общегосударственного идиотизма.

— Миша, ты продолжаешь дописывать и совершенствовать роман. Но, по существу, он завершен. — Елена Сергеевна медлила с самым больным вопросом. И, наконец, спросила: — Что будем делать дальше?

Михаил подержал на ладонях увесистый фолиант.

— Вот он — весь тут — 327 страниц машинописного текста!.. Ты спрашиваешь, что делать? Не знаю. Вероятно, ты уложишь роман в бюро или шкаф, где лежат убогие мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем. Суд свой над этой вещью я уже совершил, и если мне удастся еще приподнять конец, я буду рад, что книга закончена и достойна того, чтобы быть уложенной во тьму. Меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, — никому не известно. Впрочем, мы не знаем нашего будущего.

6

В советской литературе было много писателей, в судьбе которых Сталин сыграл ту или иную роль. Фадеев и Шолохов, Ахматова и Мандельштам, Платонов и Пастернак. Но случай с Булгаковым особый.

Появившись уже на первых спектаклях «Турбиных», его тень в ложах незримо сопровождала спектакль на всем пути. Посчитали, что Сталин смотрел «Турбиных» не менее 15 раз, 8 раз был на «Зойкиной квартире». Артисту Хмелеву, игравшему Алексея

Турбина, говорил: «Хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши усики, забыть не могу». И в другом разговоре делал сравнение с Эрдманом: «Вот Булгаков! Тог здорово берет! Против шерсти берет!»

Довольно резко расправляясь с литераторами, Сталин выступал как бы покровителем, тайным меценатом Булгакова. Забитому, полуголодному писателю звонок Сталина сохранил жизнь, об этом благодеянии заговорили.

Мучая писателя, он как бы ждал, что он сломается, сдастся, станет «своим».

Приручение шло трудно. И все же — это случилось: Булгаков решил написать пьесу о Сталине.

Вполне возможно, что мысль о пьесе могла появиться у Булгакова после оперы «Иван Сусанин», которая шла в Большом театре с новым патриотическим эпилогом.

Перед эпилогом правительство перешло из боковой ложи в центральную — бывшую царскую. Публика взорвалась аплодисментами, перешедшими к моменту появления Минина и Пожарского в овацию. Овации приняли громовой характер, причем правительство аплодировало сцене, сцена — в адрес правительства, а публика буйствовала в общем апофеозе. Многие вставали ногами на кресла, какая-то старушка, увидев Сталина, стала креститься и приговаривать: «Вот увидела все-таки!»

Прочитав об этом в газете, Булгаков усмехнулся:

— Нового Бога нашли! А ведь это истинное преклонение…

— Ты сам столько раз убеждал меня в том, что Сталина любит народ. Хотя он и тиран.

— Тиран, но очень ловкий, умело превращающий людей в рабов и заставляющий поклоняться себе, как божеству. Это и понятно — он единственный в стране, кто может повелевать судьбами людей. И спору нет — человек незаурядный.

— Тебе удалось найти в его лице заступника. Правда… Этот звонок, не знаю, что это было?

— Все же тогда он спас меня. И все равно — играл он со мной, как кошка с мышкой, или и впрямь проникся участием к моим сочинениям — не знаю. Я устал от борьбы с новоявленным богом и выстроенной им империей. Теперь буду действовать по-другому.

— Сдаешься?

— Думаю, а что, если сделать то, что он давно ждет, — написать пьесу о нем?

— Миша, тебя расстреляют. Ты ж не сумеешь сделать то, что ему надо.

— Я напишу о молодом Сталине, о годах его учебы в

семинарии. О пылком и светлом юноше, вдохновленном невиданной мечтой о новом государстве. Со всеми его сомнениями, страхами и геройством.

— Никто не поймет! Сталин — солнце, на солнце не может быть пятен. Хвалебные оды и лесть — вот единственный дозволенный жанр.

— Жанр для дураков. А если он поймет? Ведь это может спасти меня, и пьесы, и роман?

В декабре 19S9 года предстояло большое торжество — 60-летие Сталина. МХАТ решил отметить юбилей премьерой и обратился к Булгакову с просьбой написать пьесу о Сталине. Булгаков согласился и завершил «Батум» к лету 1939-го. Театр восторженно принял прочитанный автором материал. Большинство театралов восхищалось мастерством создания центрального образа — живого, вызывающего симпатию. Спешно приступили к репетициям.

Подготовка спектакля была внезапно прервана — стал известен отзыв Сталина, резко неблагоприятный: «Все дети и все молодые люди одинаковы. Не надо ставить пьесу о молодом Сталине».

«Не надо ставить» — и эта надежда погребена. Но что же не получилось на этот раз? Похоже, в своем желании изобразить живого сложного человека вместо монументальной фигуры Властелина, Булгаков переборщил. Он не умел лгать. Он написал героическую повесть про некоего грузинского семинариста, подверженного и сомнениям, и чувству вины. То есть про того Сталина, которого придумал сам в своем желании не замечать монстра под личиной отца народов.

Отзыв Сталина сочли за скромность. Но, скорее всего, это было желанием не привлекать внимание к своей молодости, проведенной в духовной семинарии, а, возможно, и секретной работе в полицейской слежке.

Провал «Батума» был последним ударом перед болезнью — Булгаков стал носить темные очки и больше их не снимал.

Стыд жжет его за взволнованный и доверительный телефонный разговор с вождем, за надежды на его помощь и постыдно отвергнутую пьесу. Да, он был в лагере инакомыслящих, он конфликтовал с властью, но никогда не шел против Сталина. Его герои не воюют с красными, а если и воюют, то торгуют потом чертями, играют на тараканьих бегах или едут назад, в Россию, как Чарнота, Хлудов или Голубков из «Бега». Вот только «Мастер»… Но Сталин про это так и не узнал. Что ж, Булгаков сам понимал, что на Свет он не тянет, что он заслужил только Покой.

7

Михаил давно опасался, что повторит судьбу отца — беспощадный нефросклероз караулил его с сорока лет. Симптомы, симптомы… А может, излишняя врачебная мнительность? В начале 1939 года он уже точно знал, что смертельно болен — с запозданием на год его таки настигла болезнь, унесшая отца. И знал, что умирать будет трудно: нефросклероз — это значит слепота, огромное кровяное давление, невыносимые боли в голове, во всех мышцах, отравленных токсинами.

И все-таки осенью Булгаков, скрывавший свои подозрения от жены, поехал с ней в Ленинград — просто пожить в гостинице праздным путешественником, посидеть в ресторане, не звонить знакомым. Побыть вдвоем, оторвавшись от московских тягот. Но не вышло.

В Ленинграде открылась его болезнь — резко ослабло зрение, врачи определили быстро развивающуюся гипертонию на почве нефросклероза. Больше скрывать болезнь было невозможно. Отдых не удался: пришлось срочно вернуться домой.

В Москве он слег и уже не вставал.

Последовательно рассказал Сергею Ермолинскому, что с ним будет происходить в течение полугода: по числам определил все этапы болезни. Дальше все шло как по расписанию.

Лицо его заострилось, он помолодел. Растрепанные волосы делали больного похожим на юношу, на мир смотрели удивленно и ясно синие почти незрячие глаза.

Однажды, подняв глаза на дежурившего у постели Сергея Ермолинского, Михаил заговорил, понизив голос и какими-то несвойственными словами, будто стесняясь:

— Я хотел тебе сказать что-то важное… Понимаешь, как каждому смертному, мне кажется, что смерти нет. Ее просто невозможно вообразить. А она есть.

Он задумался и договорил самое главное:

— Она есть, но не совсем. Духовное общение с человеком после его смерти отнюдь не прерывается, наоборот — оно может обостриться… И очень важно, чтобы так случилось. Атак случается не часто. Надо стараться… Фу-ты. — перебил он сам себя. — Я, кажется, действительно совсем плох, если заговорил о таких вещах, ты не находишь?

Боль становилась непереносимой. Однажды Михаил попросил Лену, чтобы она взяла у Шиловского револьвер — не мог больше терпеть пытку. Укол — и на время он затихал. Елена Сергеевна тихо плакала, присев к кухонному столу.

В доме было тихо. Исхудавшее тело, распростертое на тахте в синем кабинете, — жизнь обтекала, не касалась его. Слова пролетали и исчезали, как туманы над вечерней землей.

«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его».

До последнего дня Михаил беспокоился о своем романе, просил прочесть что-то.

Сидя у машинки, Лена читала тихо: «Счастливее всего был Иешуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он стал впадать в забытье, повесив голову в размотавшейся чалме…»

Оставив чтение, она посмотрела на больного. Он лежал неподвижно, погруженный в глубокое раздумье. Потом попросил:

— Переверни четыре-пять страниц назад. Как там солнце склоняется.

— Я нашла: «Солнце склоняется, а смерти нет…»

— А дальше через строчку.

— «Бог! За что гневаешься на него. Пошли ему смерть…»

— Да, так, — сказал он. — Я посплю, Лена.

8

Как-то, уже в пору последней стадии болезни, вдруг посветлел и заговорил, как о радостном:

— Вот, Леля, я скоро умру, меня всюду начнут печатать, театры будут вырывать друг у друга мои пьесы, и тебя будут приглашать с воспоминаниями обо мне. Ты выйдешь на сцену в черном платье с красивым вырезом на груди, заломишь руки и скажешь: «Отлетел, ангел мой…»

Дней за пять до смерти Елена нагнулась над ним, поняла, что он хочет что-то сказать ей.

— «Мастер, да?» — поняла она. Михаил облегченно опустил веки. Елена перекрестилась и дала ему клятву, что напечатает роман. Потом, когда сама заболела, страшно тревожилась, что умрет и не успеет выполнить обещание.

В часы облегчения умирающий торопился раздать «долги»: кому-то послать пару слов, с кем-то повидаться, договорить недоговоренное.

Сейчас, у последней черты, он думал о том, как много еще

можно было бы сделать, если бы иметь в запасе хотя бы год. Замыслы, планы, один заманчивее другого — и никогда уже… Они умрут вместе с ним. Безумная судьба, жестокая. И все же, подводя итоги, он знал, что сумел осуществить главное — сохранить достоинство в самых уничижительных для творца ситуациях, запечатлеть свои мысли, фантазии, неповторимый след своей души, подарить иную жизнь друзьям, близким, на страницах своих сочинений. Его мать, его друзья, родные, его Город, его Любовь получили бессмертие.

Но самый большой долг оставался не оплаченным. Тася… верная, преданная, брошенная Тася — первая безумная любовь, жена, сиделка.

Ощущая, как уходят последние силы, заволакивает туманом мозг, он позвал сестру Надю. Его похудевшее лицо с впалыми щеками казалось помолодевшим. И с юношеской ясностью смотрели чистые незрячие голубые глаза.

— Приведи Тасю. Я повиниться хочу.

Он судорожно глотнул воздух. Выгнулась под воротом рубахи истончившаяся жилистая шея. Ко лбу прилипли влажные пряди, из запекшихся губ вырывалось тяжелое, с влажным хрипом дыхание.

Но Татьяна Николаевна Лаппа не жила уже в Москве, и эта просьба умирающего осталась не выполнена.

Мартовский солнечный день, но свет не нужен. Шторы задернуты, лампа закрыта синим платком, комната в мертвенном полумраке, тихие шаги, шепот. Близкие собрались у постели Булгакова. В его лице уже проступила печать потустороннего. Было ясно, что близок конец.

— Ну! Что дальше… замучен… отдохнуть бы… тяжело….

Жалобно протянул: «ма-ма». Искал Ленину руку, сжал, и последний вздох со свистом вырвался из запекшихся губ…

9

10 марта в 4 часа дня Михаила Афанасьевича Булгакова не стало. Он ушел из жизни, не дожив двух месяцев до пятидесяти девяти лет.

После смерти лицо его приняло спокойное, даже величественное выражение…

И стали приходить прощаться… Бесконечная чреда друзей, знакомых, коллег. На лестнице в подъезде, во дворе стояли совершенно незнакомые люди.

Еще в феврале артисты МХАТа Качалов, Хмелев, Тарасова

обратились с письмом к секретарю Сталина с просьбой сообщить о тяжелой болезни писателя и с намеком, что внимание Сталина, его звонок могли бы подбодрить умирающего.

Звонок из секретариата Сталина последовал лишь на следующий день после смерти Михаила Афанасьевича:

— Правда, что товарищ Булгаков умер?

— Да, он умер.

Трубку положили.

В Доме литераторов скромная церемония в скорбной тишине — музыку Михаил Афанасьевич просил не включать. По дороге в крематорий заехали во МХАТ. Вся труппа и служащие стояли у подъезда. Потом поехали к Большому театру. У колонн стояла толпа, ждали, хотели проститься. Из Ленинграда пришло письмо от Ахматовой.

Вот это я тебе взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья,
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презренье.

Кадильного куренья не было. Но в «Правде» появился величавый некролог, Правительство выделило место писателю на Новодевичьем кладбище — Сталин все же расплатился за «Батум». А может быть, он понимал, что соприкоснулся с гением? Гением, которого он методично уничтожал, сделав случайное исключение своим звонком.

Михаилу Булгакову выпала странная судьба: он хотел жить хорошо, а ему приходилось выживать. Он пытался служить Советской власти, «против шерсти» шел, но и явно «против властей не бунтовал». Был ярко, щедро одарен, но советской литературой отвергнут. Он был честен в своем творчестве, ибо гении не умеют лгать; не пресмыкался, не подличал, не отмечался на красных митингах и парадах, не подписывал палаческие «открытые» письма. «Великолепное презренье» — как тяжка эта ноша, как трудно выносима. Ахматова знала.

Елена Сергеевна захоронила прах мужа в вишневом саду старого участка Новодевичьего кладбища вблизи могил Чехова, Гоголя, Станиславского. На могиле, на зеленой граве, большой черный камень. История его удивительна.

Елена Сергеевна долго не могла найти то, что хотелось. Просто сажала цветы и по углам четыре грушевых деревца. Однажды, зайдя в мастерскую при кладбище, она увидела глубоко запрятанную в яму гранитную глыбу мерцающе-черного цвета.

— Что это?

— Голгофа с могилы Гоголя. Сняли, когда поставили новый памятник.

Экскаватором перевезли огромный валун, и получилось то, что и хотела Елена Сергеевна. Купол из переплетенных ветвей, под ним зеленая трава и черный камень, как бы переданный Булгакову его любимым писателем.

Елена Сергеевна знала, что Михаил дар Гоголя одобрил — ведь она каждый день беседовала с ним.

Елена Сергеевна верила, что он всегда с ней. Иначе и не могло случиться с верной подругой Мастера. Она писала Михаилу письма, постоянно разговаривала с ним, как с живым.

«Сегодня я видела тебя во сне. У тебя были такие глаза, как бывали всегда, когда ты диктовал мне, — громадные, голубые, сияющие, смотрящие через меня на что-то видимое одному тебе. Они были даже еще больше и еще ярче, чем в жизни. Наверное, такие они у тебя сейчас».

Знание языков помогло ей зарабатывать деньги переводами, но главным занятием оставался Михаил. Всю свою жизни после Миши она посвятила публикации его произведений, а это было тяжкое, мучительное дело.

В письмах к Мише и беседах с ним Елена Сергеевна подробно сообщала о всех дрязгах мучительного процессе издания его рукописей. Она билась изо всех сил, каждая победа давалась огромным трудом — походами по инстанциям, оскорбительными отказами, просьбами. Но она упорно шла по тяжкому пути, осуществляя свою, освященную клятвой и всей силой любви и веры миссию.

С каким же торжеством она рассказывала Михаилу о своих победах!

В 1962 году вышла написанная тридцатью годами раньше биография Мольера.

В 1963 году — «Записки юного врача».

В 1965 году — сборник «Драмы и комедии» и «Театральный роман».

В 1966 году — том «Избранная проза» с «Белой гвардией».

В 1966–1967 годах — «Мастер и Маргарита».

Роман был опубликован в журнале «Москва», с цензурными купюрами. Но «Самиздат» выпустил сразу же полный вариант, и случилось то, что и должно было случиться: роман стал неотъемлемой частью духовной жизни интеллигенции, задыхавшейся в тисках застоя. А в 70-е отчаянный Юрий Любимов поставил на Таганке инсценировку полного варианта романа и перед портретом Булгакова на сцене зажег вечный огонь.

Как же праздновали этот день Мастер и Маргарита там — в

Вечном покое!

Подруга ушла к Михаилу в 1970 году и была похоронена рядом с ним. Покой! Они сделали все, что было в человеческих силах. Они сделали все, чтобы Дар Булгакова, полученный свыше, был передан всем нам, и мы смогли стать лучше.

Тася

Тася ждала, когда увлечения Михаила пройдут, и он вернется к ней, ведь настоящая любовь бывает только одна. Лишь узнав о третьем браке Михаила, она решила — ждать больше нечего, и покинула Москву.

Пять лет Татьяна Лаппа жила и работала в Черемхове — шахтерском поселке в 100 км от Иркутска — медсестрой в регистратуре Горздрава.

Жила тихо, ничем не показывала, что была первой женой писателя, имя которого уже стало широко известным. Татьяна Николаевна о Мише ни с кем не говорила, прошлое в памяти не ворошила — тяжело было, и обида, хоть и прощенная, щемила сердце. Вдруг попалась на глаза газета: «Умер Михаил Афанасьевич…»

Ушел. Снова оставил ее. А значит, даже последней встречи не будет. Не будет его глаз с последней мольбой — понять и простить.

Однажды девяностолетняя Тася купила у подвыпившего гражданина растрепанный номер журнала «Москва». Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Скромное посвящение: «Моей жене». Сердце Таси остановилось и бешено застучало: «жене!». Надев очки с резинкой вместо сломанных дужек, она стала вчитываться, торопливо листая страницы: Ведьма, Маргарита… «любовь поразила нас мгновенно… Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет… И скоро, скоро стала эта женщина моею тайною женой». Пальцы дрожали, слезились почти ослепшие глаза. Верно, все верно! «Фауст»! Он называл ее своей Маргаритой, колдуньей! Она сидела на подоконнике, облитая лунным светом, она была единственной, венчанной перед Богом! «Господи, так это обо мне же!»

Она жила забыто и скудно, жила долго, без вкуса и радости. Ждала. Дожила, дождалась все-таки! Господи, благодарю Тебя за щедрость Твою! А значит, все было не зря…Не зря светили им звезды!

Татьяна Николаевна Лаппа скончалась в Феодосии в полной

безвестности 10 апреля 1982 года в возрасте 90 лет.

Люба

После развода с Булгаковым Любовь Белозерская занималась литературой, работала референтом у академика Тарле, потом редактором в солидных издательствах. По совету друзей написала воспоминания о Булгакове. В 1983 году она легко и изящно танцевала на банкете в честь премьеры «Дней Турбиных» в городе Орле.

На сборнике «Дьяволиада», вышедшем уже после развода, Булгаков написал: «Моему другу, светлому парню Любочке». Ее не стало 27 января 1987 года.

Споры о том, кто же послужил прообразом Маргариты, ведутся до сих пор.

Совершенно бессмысленное дело: женщин у Булгакова было много, а любовь одна. Как шмель, летающий над лугом, писатель по крошке собирал свой мир из впечатлений разнообразной и трудной жизни. Его Маргарита — это и Тася, и Люба, и конечно же — Елена Сергеевна. Можно вспомнить и других подруг, одаренных щедростями любвеобильной души.

Мы знаем Мастера и его верную подругу Маргариту. Мы знаем, что на свете есть настоящая, верная и вечная любовь. Писатель и его любимая ушли по лунному лучу, а мы остались, как Иванушка Бездомный, чтобы помнить, верить и ждать полнолуния. И своего Покоя.

Часть третья
Московские адреса героев Булгакова

«Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921–1924 годов, — пишет он в трактате о жилище. — О, нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался почти во все шестые этажи, в каких только помещались учреждения. И так как не было положительно ни одного 6-го этажа, в котором не было бы учреждения, то этажи знакомы мне все решительно».

Москва — город Булгакова. Ее улицы исхожены его ногами, в ее дома, витрины, подъезды, подворотни, в лица живущих здесь людей вглядывались внимательные глаза фельетониста, в московских переулках жили его многочисленные друзья, в театрах ставились пьесы. Он захаживал в московские рестораны, клубы, библиотеки. Он прогуливался по любимым местам столицы со своими возлюбленными, назначал свидания, расставался, женился. Здесь он голодал и праздновал, пропадал и воскресал. Здесь поселил своих героев, навсегда пометив своим именем дома, переулки, носящие теперь метку: «булгаковские места».

Москва до визита Воланда

Знамением московского быта, стержнем социально-бытового климата столицы был и остался «квартирный вопрос», который, по провидческому замечанию Булгакова, всех нас испортил. Предпосылки это катастрофической для формирования социальной психологии аномалии были заложены в самой сути Октябрьского переворота, использовавшего принцип Шарикова — «все отобрать и поделить». Экспроприация частной собственности шла широким фронтом, касаясь не только объектов промышленности, хозяйства, транспорта, но и личного имущества. Уже через две недели после взятия Зимнего дворца, в набросках к декрету «О реквизиции теплых вещей для солдат на фронте», В.И. Ленин указал: «Богатой квартирой считается также всякая квартира, в которой число комнат равняется или превышает число душ населения, постоянно живущего в этой квартире». Ленинская формула «богатой квартиры» стала ключевым пунктом в понимании отношения советской власти к жилищу. Жилье изымалось у богатых и заселялось «семьями бедного населения» в соответствии с установленной нормой 20 кв. аршин (10 кв. метров) на взрослого и ребенка до двух лет и 10 кв. аршин (5 кв. метров) на ребенка от двух до двенадцати лет. В

комнаты необходимого размера заселялись, как правило, по одной семье. Слишком большие делили перегородками. Так возник феномен «коммунальной квартиры». А норма жилплощади, в пересчете кубометров воздуха на душу населения, позже была сокращена до 5 кв. метров.

Все, кто проживал на площади, превышающей норматив, обязаны были потесниться и сдать излишек жилой площади для заселения нуждающимися либо самостоятельно вселить к себе на излишки площади любого человека, даже не родственника. Вселенный жилец обретал право на площадь в данном жилище. Власть активно использовала инициативу масс для исполнения своих решений — не нужно ждать, пока сотрудник жилищного отдела выяснит, где имеется жилая площадь, доступная к заселению, нужно самостоятельно занимать ее, заселяя своими родственниками или знакомыми.

И посыпались анонимки, и пошли аресты с исчезновением «богатых владельцев». И расцвело пышным цветом в Москве стукачество.

Рассмотрим поочередно (в хронологическом порядке) «булгаковские места» — дома и объекты, упомянутые в его творчестве.

1

Знаменитый **дом Нирензее (Гнездниковский переулок)** приворожил внимание Булгакова. С ним связаны многие эпизоды его рассказов, на его крыше устраивал писатель читки своих произведений.

Самый тогда высокий в городе десятиэтажный дом был построен в 1912 году и прозван так москвичами по имени его строителя и первого владельца. Изначально дом задумывался как доходный. Поэтому всякие «излишки» вроде кухонь в квартирах даже не планировались. Их заменяли ниши для плиты. А питаться в основном предполагалось в общественной столовой, для которой на крыше соорудили специальное помещение.

Заселить дом планировалось состоятельной публикой. Поэтому строитель отнесся внимательней к потребностям в пище духовной. В подвальном пространстве находилось специально спланированное помещение для проведения зрелищных мероприятий. С 1915 года и почти на целое десятилетие в подвале поселилась «Летучая мышь» — популярный театр-кабаре под руководством Н. Балиева. На следующий год местом для развлечений стала и окруженная высоким парапетом крыша, куда

гостей поднимал отдельный лифт. Зимой там заливали каток, а летом гоняли на ставших вдруг страшно модными роликовых коньках.

В 1916 году в надстройке на крыше, где первоначально планировалась столовая, открылась «Греческая кофейня», которую почти сразу же для своих посиделок облюбовали литераторы. А на окружавшем крышу высоком парапете исполнял уникальные цирковые номера Виталий Лазаренко. Держа на парапете стойку на одной руке, он другой приветливо помахивал оцепеневшим внизу от ужаса прохожим, обмениваясь одновременно репликами с присутствовавшими на крыше репортерами…

Вся остальная, не экстремально настроенная публика наведывалась на крышу в основном для того, чтобы полюбоваться на открывающийся отсюда на все стороны вид.

Магия высоты заманивала на крышу богемного гнезда в Гнездниковском многие знаменитости. Отсюда ею любовались будущий создатель Камерного театра Александр Таиров и знаменитая актриса Алиса Коонен. Сюда из своего штаба, расположенного прямо над «Летучей мышью», поднимались освежиться пламенные лидеры русских футуристов В. Маяковский и Д. Бурлюк.

Много раз приходил на эту смотровую площадку и в воображении перемещал по раскинувшейся внизу Москве героев своего будущего романа Михаил Булгаков. Здесь в кафе литераторов он читал свои произведения, а по одной из версий, именно в этом доме на ужине у друзей в 1929 году писатель познакомился с Еленой Сергеевной Шиловской.

В дни октябрьских событий 1917 года небоскреб в Гнездниковском оказался в самом центре боев, после которых почти половина окон в доме зияла провалами. Однако стекла вставили на удивление быстро. Ибо новая власть, объявив здание четвертым Домом Московского совета, забрала его для нового советского начальства. «Летучей мыши» пришлось ретироваться.

А с наступлением НЭПа общепит на крыше легендарного дома в Гнездниковском только укрепился. Вместо кафе там открыли ресторан, о котором писал не раз его посещавший Булгаков.

К концу 1920 — началу 1930-х годов от былой публики в доме Нирензее не осталось и следа. Кто-то сам покинул не только жилплощадь, но и страну. Кого-то бесцеремонно выселили. Тем более что с некоторых пор на отдельном, специально выделенном только для него лифте в свое новое жилище на 7-м этаже стал подниматься Андрей Януарьевич Вышинский. Прозванный за

свою вдохновенную свирепость «Ягуарьевичем», в 1933 году Вышинский стал Генеральным прокурором СССР. И в этой роли почти для всех обвиняемых требовал только одного наказания — смертной казни. Досталось и соседям Вышинского по месту жительства. К концу тридцатых из 600 квартиросъемщиков дома в тюрьмах и лагерях сидела ровно треть.

Отныне и на целых два десятилетия в Москве стала наиболее востребованной совсем другая крыша — над внутренним корпусом известного здания на Большой Лубянке, которую руководство НКВД приспособило в качестве прогулочной площадки внутренней тюрьмы. Ну а на верхней площадке бывшего дома Нирензее больше никто не сидел и не прогуливался. Негде было. Ресторан закрыли, а вход на площадку опечатали.

В цикле рассказов **«Сорок сороков»** именно с крыши дома Нирензее Булгаков следил за происходящими в столице под влиянием НЭПа изменениями.

«На самую высокую точку в центре Москвы я поднялся в серый апрельский день. Это была высшая точка — верхняя платформа на плоской крыше дома бывшего Нирензее, а ныне Дома Советов в Гнездниковском переулке. Москва лежала, до самых краев видная, внизу. Не то дым, не то туман стлался над ней, но сквозь дымку глядели бесчисленные кровли, фабри чные трубы и маковки сорока сороков. Апрельский ветер дул на платформы крыши, на ней было пусто, как пусто па душе…Это был апрель 1922 года».

«В июньский душный вечер я вновь поднялся на кровлю того же девятиэтажного нирензеевского дома. Цепями огней светились бульварные кольца, и радиусы огней уходили к краям Москвы. Пыль не достигала сюда, но звук достиг. Теперь это был явственный звук: Москва ворчала, гудела внутри… Скрежет шел от трамваев, они звякали внизу, и глухо, вперебой, с бульвара неслись звуки оркестров…на вышке крыши трепетал свет. Гудел аппарат — на экране был помещичий дом с белыми колоннами. А на нижней платформе, окаймлявшей верхнюю, при набегающем иногда ветре шелестели белые салфетки на столах, и фрачные лакеи бежали с блестящими блюдами».

Казалось — должны были пройти годы для «перестройки» нищей голодающей Москвы в рай толстосумов. Однако «фраки» и «блюда» появились всего через два месяца. Очевидно, былое великолепие, оставшееся от старых времен, было припрятано на всякий случай.

Отсюда, с крыши дома Нирензее, в финале **«Дьяво-лиады»** бросился вниз несчастный, замороченный бессмысленной канцелярской каруселью делопроизводитель Коротков.

«Отвага смерти хлынула ему в душу. Цепляясь и балансируя, Коротков взобрался на столб парапета, покачнулся на нем, вытянулся во весь рост и крикнул:

— Лучше смерть, чем позор!»

2

Действие повести **«Роковые яйца»** начинается в Москве. Имеет точный пространственный и временной ориентир.

«16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV государственного университета и директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.

Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как и первопричиною этой катастрофы следует считать профессора Владимира Ипатьевича Персикова».

Однако обрисованный Булгаковым московский пейзаж 1926–1928 годов окрашен светом футуристической фантастики.

«*…. В 1926 году, когда соединенная американо-ясская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы, 15 пятнадцати этажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919–1925».*

«Насмешничаете, господин Булгаков! Если уж так все гладко, зачем гадов напускать?» — заглянет в глаза писателю сотрудник ОГПУ.

3

«Собачье сердце». Николай Михайлович Покровский, дядя Михаила по материнской линии, проживал в семикомнатной отдельной квартире в бельэтаже комфортабельного дома против Пречистенской пожарной команды, **в Обуховском переулке.**

Врач-гинеколог имел свой кабинет, занимался частной практикой и пользовался большой известностью. Бурная волна интереса к хирургическому омолаживанию вспыхнула после сенсационных сообщений об опытах на основе методики великого венского профессора Штейнаха. В Москве темой заинтересовались в клинике профессора Мартынова, именно там,

где стал работать киевский друг Михаила Николай Гладыревский. А в ассистентах Мартынова числился некий доктор Блюменталь. Все эти мотивы и образы сплавила фантазия Булгакова в удивительной повести «Собачье сердце».

Профессор Преображенский явился в повесть Булгакова с Пречистенки, где издавна селилась потомственная интеллигенция. Он — выразитель взглядов уходящего класса «бывшей интеллигенции» — воплощение уходящей русской культуры, аристократизма.

Преображенский видит Москву глазами потомственного интеллигента. Его возмущает, что с лестниц пришлось убрать ковры, потому что по этим лестницам начали ходить люди в грязных калошах, а водку нельзя больше покупать в магазине, потому что «бог их знает, чего они туда плеснули». Но самое главное — он не понимает, почему все в Москве говорят о разрухе, а при этом лишь поют революционные песни да смотрят, как бы сделать плохо тому, кто живет лучше. Ему не нравятся бескультурье, грязь, разруха, агрессивное хамство, самодовольство новых хозяев жизни. «Это — мираж, дым, фикция» — так оценивает профессор новую Москву.

Именно в этой повести особенно мощно звучит одна из ведущих, сквозных тем творчества Булгакова — тема Дома как средоточия человеческой жизни. Большевистская политика экспроприации жилья и подселения изничтожили Дом, как основу семьи, как основу общества. Новый человек — прежде всего яростный борец за жилплощадь, а значит, агрессивный хищник. Может быть, поэтому в булгаковских повестях и пьесах так часто является сатирическая фигура председателя домкома, жилтоварищества, олицетворяющая «главную власть времени».

Москва 20-х годов в повести Булгакова «Собачье сердце» — это город уходящей русской культуры, город озверевших пролетариев, бескультурья, грязи и пошлости.

Развал Колобуховского дома под натиском команды Швондера, так же как и гибель дома Эльпита в рассказе «№ 13. Дом Эльпит-Рабкоммуна», — метафора гибели прежней России.

В споре о причинах появления в доме таких явлений, как кража галош, грязь в парадном, перебои в электроснабжении, профессор Преображенский — главный герой повести — на комментарий своего помощника Борменталя, говорящего о том, что причиной всего этого является «разруха», говорит так: «Что такое разруха? Разруха — это не старуха с клюкой… Разруха… в головах». Булгаков в «Собачьем сердце» остро переживает именно эту «разруху в головах» в обществе Москвы: «уплотнение», вплоть до фантастического вытеснения из жизни старой московской

интеллигенции, доминирование, агрессивное и жестокое, в ней шариковых и швондеров.

Воланд явился. Мастер и Маргарита

«Мастер и Маргарита». Патриаршие пруды.

Ранее на месте прудов располагалось Козье болото (в честь него получили свое название Большой и Малый Козихинские переулки). В конце XVI века это место для своей резиденции выбрал патриарх Иоаким. И появилась Патриаршая Слобода. Для разведения рыбы к патриаршему столу вырыли три пруда, впоследствии названные Патриаршими. Однако до наших дней дожил только один пруд, а о прошлом напоминает Трехпрудный переулок.

На Патриаршие пруды, где был популярный в Москве каток, привозил кататься на коньках своих дочерей Лев Николаевич Толстой. По аллеям сквера прогуливался и слушал соловьиное пение другой Толстой — Алексей Николаевич.

В советское время пруды пытались переименовать в Пионерские, но новое название не прижилось. Так они и остались Патриаршими.

В 2003 году Патриаршие пруды причислены к объектам культурного наследия. Парк, пруд и павильон охраняются государством.

Патриаршие пруды по праву считают местом элитным: и в советское, и в постсоветское время здесь селились люди известные и обеспеченные. Это один из десяти самых престижных районов столицы. Действительно, рядом Тверская улица и Садовое кольцо, театры па Малой Бронной, имени Моссовета, Сатиры, театр Луны, Концертный зал им. Чайковского, Дом Ханжонкова, немало элитных клубов.

Здесь начинается роман «Мастер и Маргарита».

«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках.

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз,

председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой МАССОЛИТ, и редактор толстого художественного журнала, а молодой спутник его — поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный.

Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды».

Да, следует отметить первую странность этого страшного майского веч/фа. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось пи одного человека. В тот час, когда у ж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумаке валилось куда-то за Садовое кольцо, — никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.

— Дайте нарзану, — попросил Берлиоз.

— Нарзану нету, — ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.

— Пиво есть? — сиплым голосом осведомился Бездомный.

— Пиво привезут к вечеру, — ответила женщина.

— А что есть? — спросил Берлиоз.

— Абрикосовая, только теплая, — сказала женщина.

— Ну, давайте, давайте, давайте!..

Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.(…)

И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из эггюго воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздугиный же пиджачок…Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.

Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть!..»

И здесь прозвучали главные слова:

«… профессор поманил обоих к себе и, когда они наклонились к нему, прошептал:

— Имейте в виду, что Иисус существовал.

— Видите ли, профессор, — принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз, — мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения.

— А не надо никаких точек зрения! — ответил странный профессор, — просто он существовал, и больше ничего».

Трамвая на Патриарших никогда не было. У Булгакова ясно говорится, что эта трамвайная линия «ново-проложенная», то есть появившаяся только что. Булгаков часто пользуется смещением временных ориентиров, трансформацией реальности. (См. «Роковые яйца».) В одной из первых редакций романа («Копыто инженера»), относящейся где-то к 1929 году, действие происходит в июне 1943-го. Такой же прием Булгаков использует, например, в повести «Роковые яйца», внедряя в реальность вымысел.

«Трамвай накрыл Берлиоза, и под решетку Патриаршей аллеи выбросило на булыжный откос круглый темный предмет. Скатившись с этого откоса, он запрыгал по булыжникам Бронной».

Дом, куда зашел Иванушка Бездомный, имеет вполне конкретную «прописку» — **Пожарский (Савельевский) переулок, дом 12.** В районе исчезновения профессора жили только одни друзья Булгакова — семья Николая Николаевича Лямина, отсюда и точность описания квартиры.

«Профессор исчез.

Иван Николаевич смутился, но ненадолго, потому что вдруг сообразил, что профессор непременно должен оказаться в доме № 13 и обязательно в квартире 47.

Ворвавшись в подъезд, Иван Николаевич взлетел на второй этаж, немедленно нашел эту квартиру и позвонил нетерпеливо. Ждать пришлось недолго: открыла Ивану дверь какая-то девочка лет пяти и, ни о чем не справляясь у пришедшего, немедленно ушла куда-то».

«В громадной, до крайности запущенной передней, слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под высоким, черным от грязи потолком, на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка, и длинные ее уши свешивались вниз. За одной из дверей гулкий мужской голос в радиоаппарате сердито кричал что-то стихами.

Иван Николаевич ничуть не растерялся в незнакомой обстановке и прямо устремился в коридор, рассуждая так: «Он, конечно, спрятался в ванной». В коридоре было темно. Потыкавшись в стены, Иван увидел слабенькую полоску света внизу под дверью, нашарил ручку и несильно рванул ее. Крючок отскочил, и Иван оказался именно в ванной и подумал о том, что ему повезло.

Однако повезло не так уж, как бы нужно было! На Ивана пахнуло влажным теплом, и, при свете углей, тлеющих в колонке, он разглядел большие корыта, висящие на стене, и ванну, всю в черных страшных пятнах от сбитой эмали. Так вот, в этой ванне стояла голая гражданка, вся в мыле и с мочалкой в руках. Она

близоруко прищурилась на ворвавшегося Ивана и, очевидно, обознавшись в адском освещении, сказала тихо и весело:

— Кирюшка! Бросьте трепаться! Что вы, с ума сошли?.. Федор Иваныч сейчас вернется. Вон отсюда сейчас же! — и махнула на Ивана мочалкой»

Набережная Москвы-реки, продолжение Пожарского переулка.

Сейчас спуститься по ступеням к воде нельзя, но, как установили исследователи, именно на продолжении Пожарского (Савельевского) переулка раньше действительно был спуск к воде.

«*Через самое короткое время можно было увидеть Ивана Николаевича на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-реки.*

Сняв с себя одежду, Иван поручил ее какому-то приятному бородачу, курящему самокрутку возле рваной белой толстовки и расшнурованных стоптанных ботинок. Помахав руками, чтобы остыть, Иван ласточкой кинулся в воду. Дух перехватило у него, до того была холодна вода, и мелькнула даже мысль, что не удастся, пожалуй, выскочить на поверхность.

Однако выскочить удалось, и, отдуваясь и фыркая, с круглыми от ужаса глазами, Иван Николаевич начал плавать в пахнущей нефтью черной воде меж изломанных зигзагов береговых фонарей.

Когда мокрый Иван приплясал по ступеням к тому месту, где осталось под охраной бородача его платье, выяснилось, что похищено не только второе, но и первый, то есть сам бородач. Точно на том месте, где была груда платья, остались полосатые кальсоны, рваная толстовка, свеча, иконка и коробка спичек. Погрозив в бессильной злобе кому-то вдаль кулаком, Иван облачился в то, что было оставлено».

Дом Грибоедова (Дом Герцена), Б.Никитская, д. № 53
МАССОЛИТ (с 1934 года — ЦДЛ)

Расшифровки сокращения (МАССОЛИТ) в тексте «Мастера и Маргариты» нет, однако наиболее вероятным представляется Мастера (или Мастерская) Социалистической Литературы, по аналогии с существовавшим в 20-е годы объединением драматургов МАСТКОМ-ДРАМ (Мастерская коммунистической драмы).

В «Доме Грибоедова» — здании правления литературной организации, угадывается дом Герцена, расположенный на улице Герцена (ныне Б. Никитская). А под маской МАССОЛИТа может

скрываться прообраз МАССОЛИТА — РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) или более поздний Союз писателей.

В этом доме в 1812 году родился писатель и публицист Александр Иванович Герцен (1812–1870), внебрачный сын крупного помещика И.А. Яковлева, брата владельца дома сенатора А.А. Яковлева. Булгаков поменял одного писателя (Герцена) на другого (Грибоедова).

«Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резною чугунною решеткой. Небольшая площадка перед домом была заасфальтирована, и в зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее время она превращалась в великолепней шее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом».

«… Важно то, что в настоящее время владел этим домом тот самый МАССОЛИТ, во главе которого стоял несчастный Берлиоз до своего появления па Патриарших прудах.

С легкой руки членов МАССОЛИТа никто не назвал дом «домом Грибоедова», а все говорит просто «Грибоедов»…

МАССОЛИТ разместился в Грибоедове так, что лучше и уютнее не придумать. Всякий, входящий в Грибоедова, прежде всего знакомился невольно с извещением разных спортивных кружков и с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов МАССОЛИТа (…) Прорезав длиннейшую очередь, начинавшуюся уже внизу в швейцарской, можно было видеть надпись на двери, в которую ежесекундно ломился народ: «Квартирный вопрос»…

Эх-хо-хо… Да, было, было!.. Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные судачки! Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой (…)»

Особняк был построен в 1889 году по заказу князя Святополк-Четвертинского по проекту московского архитектора Н.С. Бойцова. Особняк выполнен в стиле модерн романтического направления. Два этажа, башенки, резное дерево, огромный зал, в котором, по преданию, размещалась влиятельная масонская ложа, а потом знаменитый писательский ресторан.

Сам ЦДЛ был основан в 1934 году — в год проведения первого съезда советских писателей и образования Союза писателей СССР. На открытие было приглашено 100 руководящих партийных работников, членов правительства СССР, заслуженных деятелей искусства.

С самого начала были предусмотрены членские взносы.

Вступительный — пять рублей, ежегодный — пятнадцать. Суммы взносов неоднократно менялись, понятно, в сторону увеличения.

ЦДЛ сразу стал писательским клубом, где встречались друзья и враги, звучали застолья, проходили заседания, панихиды, собрания — «чистки» неугодных элементов или награждения достойных.

О писательском Доме за 70 лет создано неисчислимое количество легенд. Некоторые из них относятся аж к дореволюционному (до 1917 года) времени.

Например, знатоки утверждали, что в обшитом дубовыми панелями ресторанном зале, где во времена «проклятого» прошлого дислоцировалась масонская ложа, однажды прошел бал, на котором танцевала реальная Наташа Ростова из «Войны и мира». Некоторая несогласованность во времени для легенды не помеха.

Доподлинно известно, что вскоре после постройки дом на Поварской купила графиня Александра Андреевна Олсуфьева. Она прожила здесь до 1917 года, пока «революционный ураган» не унес ее в Европу.

Дом Олсуфьевых славился на всю Москву французским поваром и винным погребком. Об этой традиции, сохранившейся в ресторане МАССОЛИТа, кормить совписов барскими блюдами Булгаков упоминает с особым смаком — ведь обычному гражданину подобные яства и не снились. Советских литераторов — сообщество избранных, ангажированных властью лизоблюдов, травивших Булгакова из года в год, он ненавидел всей душой, потому и позволил себе удовольствие спалить Грибоедов в главе «Последние похождения Коровьева и Бегемота».

«… *Из примуса ударил столб огня прямо в тент. Как бы зияющая пасть с черными краями появилась в тенте и стала расползаться во все стороны. Огонь, проскочив сквозь нее, поднялся до самой крыши грибоедовского дома. Лежащие на окне второго этажа папки с бумагами в комнате редакции вдруг вспыхнули, а за ними схватило штору. И ту т огонь, гудя, как будто кто-то его раздувал, столбом пошел внутрь теткиного дома».*

Булгаков сжег Грибоедова, как и «нехорошую квартиру» — он, как и в юные годы, все еще верил в формулу «Ignis sanat» — огонь лечит.

Дом Драмлита. Лаврушинский пер., 17.

Дом Драмлита Булгаков поместил в **конце Б. Николопесковского** переулка на Арбате. Но описан в романе

дом, находящийся в **Лаврушинском переулке напротив Третьяковской галереи.**

Именно здесь жили официальные, номенклатурные писатели и критики, в числе коих и некий начальник репертуарного комитета Осаф Литовский. Литовский запретил «Багровый остров», и «Кабалу святош», и «Зойкину квартиру». В паре с травившим Булгакова критиком Орловским он выступил в романе под фамилией Латунский, квартиру которого громила мстившая Маргарита *«…ее внимание привлекла роскошная громада восьмиэтажного, видимо, только что построенного дома. Маргарита пошла вниз и, приземлившись, увидела, что фасад дома выложен черным мрамором, что двери широкие, что за стеклом их виднеется фуражка с золотым галуном и пуговицы швейцара и что над дверью золотом выведена надпись: «Дом Драмлита».*

Маргарита щурилась на надпись, соображая, что бы могло означать слово «Драмлит».

В начале 30-х годов Сталин решает объединить литераторов. И не только организационно, как в Союзе писателей, но и бытово — под общей крышей.

Сталин говорил: «Надо создать писательский городок. Гостиницу, чтоб в ней жили писатели, столовую, библиотеку большую — все учреждения. Мы дадим на это средства».

Сначала писателям предоставляли комнаты в знаменитом Доме Герцена («Грибоедове») на Тверском бульваре. Начинающие пролетарские литераторы жили в общежитии на Покровке. Вскоре члены творческого союза получают квартиры на улице Фурманова. А с 1937 года начинается заселение огромного писательского дома в Лаврушинском переулке. Здание было выстроено в этом же году по проекту архитектора И.И. Николаева и достраивалось в 1948–1950 годах.

Итак, кто же оказался под общей крышей? Тут начинаются трудности. Перечислить всех писателей, оказавшихся квартирантами дома в Лаврушинском, не представляется возможным. В списке около сотни фамилий. Тут жили А. Барто, Вс. Вишневский, И. Ильф, Е. Петров, Э. Казакевич, Ю. Олеша, А. Макаренко, Н. Погодин, М. Пришвин, К. Паустовский, К. Федин, В. Катаев, В. Чивилихин, Л. Никулин, М. Бубеннов и многие, многие другие именитые прежде и ныне литераторы.

Ходила байка, что в 1937 году на дверях писательского кооператива повесили объявление: «Просьба не забивать канализацию сожженной бумагой». Илья Эренбург вспоминал: «В кругу моих знакомых никто не был уверен в завтрашнем дне; у многих были наготове чемоданчики с двумя сменами теплого белья. Пришел как-то Бабель и с юмором, которого он никогда не

терял, рассказывал, как ведут себя люди, которых назначают на различные посты: «Они садятся на самый краешек кресла…»

А.С. Макаренко решил оставить свою знаменитую коммуну (см. «Педагогическую поэму») и переехать в Москву. Ему надоело отбиваться от нападок на него чиновников из отдела народного образования Украины. Его обвиняли в командном стиле руководства, в аракчеевщине. Перебраться в столицу помог М. Горький. На гонорар от «Педагогической поэмы» Макаренко в феврале 1937 года купил квартиру в Лаврушинском. Но прожил недолго, скончавшись в 1939 году.

В достопамятном 1937-м после продолжительных хлопот Пришвин, говоривший о себе: «Розанов — послесловие русской литературы, я — бесплатное приложение», получает здесь квартиру. Из больших окон шестого этажа распахивался обширный вид на Замоскворечье: «Вот наконец желанная квартира, а жить не с кем…» Булгакову в прошении на квартиру в доме Драмлита было отказано.

Дом Маргариты

В описаниях мест, где происходит действие романа, Булгаков очень конкретен, и поэтому специалистам удалось определить большинство из них. Исключение составляет дом Маргариты, а ведь именно про него Булгаков писал: «Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Всякий может в этом убедиться, если пожелает направиться в этот сад. Пусть обратится ко мне, я скажу ему адрес, укажу дорогу — особняк цел еще до сих пор».

Однако скорее всего дом Маргариты — вымысел автора. Скорее всего, Булгаков компилировал черты нескольких московских домов, дабы поселить Маргариту в достойный антураж и в то место, где ей было удобно находиться для сюжета романа.

(вариант 1). Спиридоновка, 17.

Местоположение особняка слабо соответствует описанию в романе. Особняк очень красив, украшен элементами готики, в отличие от остальных претендентов. Есть здесь и «фонарь в башенке», где находилась спальня Маргариты.

Построен дом в 1898 году по проекту академика архитектуры

Шехтеля (его же — дом Рябушинских, а также реконструированное в начале века здание МХАТ) для миллионера Саввы Морозова.

Косвенно указывает на этот дом и еще одно обстоятельство. В романе Мастер выиграл в лотерею 100 тыс. рублей. Когда он почувствовал, что с ним происходит что-то плохое, он все оставшиеся от 100 тыс. деньги, а именно — 10 тыс., отдал Маргарите. А на самом деле Морозов, чей дом, застраховал свою жизнь на 100 тыс. рублей и, обманув доверие страховых компаний, в 1905 году покончил жизнь самоубийством.

(вариант 2). Малый Власьевский пер. (улица Танеевых), 12.

Дом хорошо подходит по расположению, но более чем посредственно — по описанию.

(вариант 3). Остоженка, дом 21.

Небольшой и очень красивый дом действительно напоминает маленький готический замок, а в большом полукруглом окне второго этажа так легко представить Маргариту. Одна беда — шумная Остоженка никак не похожа на «один из Арбатских переулков». Кроме того, сегодня никакого сада у дома, в котором расположилось диппредставительство какой-то из арабских стран, нет.

Дом, где жил Мастер

(вариант 1) Мансуровский пер., 9.

По воспоминаниям современников, когда-то дом принадлежал артисту Малого театра С. Топленинову, у которого Михаил Афанасьевич часто бывал в гостях и которому — одному из первых — прочитал свой роман. «Так это ты наш подвал описал?» — изумился хозяин. «Тс-с!» — улыбнулся Булгаков и поднес к губам палец.

В это трудно поверить, но все годы при советской власти этот скромный домишко в самом центре Москвы оставался чей-то частной собственностью.

«Нанял у застройщика две комнаты, в подвале маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате.

— Ах, это был золотой век, — блестя глазами, шептал рассказчик, — совершенно отдельная квартирка, и еще передняя, и в ней раковина с водой, — почему-то особенно горделиво подчеркнул он, — маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в четырех шагах, под забором, сирень, липа и клен. Ах, ах, ах! Зимою я очень редко видел в оконце чьи-нибудь черные ноги и слышал хруст снега под ними. И в печке у меня вечно пылал огонь! Но внезапно наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я сперва голые, а затем одевающиеся в зелень кусты сирени».

(вариант 2)

(Плотниковский переулок, дом № 9), квартира друзей Булгакова Поповых, в которой часто собирался кружок «пречистенских интеллектуалов» и где Булгаков часто читал написанное. Павел Сергеевич Попов и его жена Анна Ильинична Толстая (внучка Льва Николаевича) имели две комнаты в подвальчике, расположение которых соответствует описанному в романе жилищу мастера.

Дом № 10 на Большой Садовой, ставший знаменитым домом 302-бис в романе «Мастер и Маргарита», старожилы называли «дом Пигита». Здесь четыре года жил с первой женой Булгаков, здесь находится «нехорошая квартира», в которой разворачивается действие его Главного романа.

Прообразом «нехорошей квартиры» послужила квартира № 50 в доме № 10 по Б. Садовой улице, где Булгаков жил в 1921–1924 годах. Кроме того, некоторым чертам планировки «нехорошей квартиры» соответствует более просторная квартира № 34 в том же доме. Здесь жил писатель четыре месяца — с августа по ноябрь 1924 года.

В отличие от коридорной системы № 50, в квартире № 34 было пять комнат, в двух из которых жил бывший владелец всей квартиры богатый финансист Артур Борисович Манасевич с женой, в другой — их прислуга Аннушка, в четвертой — Александра Николаевна Кибель с сыном Вовкой, послужившие прототипами героев рассказа «Псалом». А в пятой вместо выехавшего сына А.Б. Манасевича (будущего писателя Владимира Артуровича Лёвшина) временно поселились Булгаков со своей первой женой.

Пятиэтажная мышасто-серая громада (шестой этаж в романе «Мастер и Маргарита» приписал Булгаков) состояла из двух корпусов. Один, на пол-этажа выше, выходил фасадом на улицу.

Другой, буквой П, находился во дворе, куда вела длинная подворотня. Когда-то две клумбы и фонтан украшали его прямоугольный двор. В центре фонтана стояла скульп тура мальчика и девочки под зонтиком.

Сначала дом не предназначался для жилья — богач Пигит строил табачную фабрику. Но в самый разгар строительства пришло запрещение строить фабрики внутри Садового кольца. Пигит не растерялся, и промышленное здание достраивалось как жилое. Фабрика «Дукат» выросла рядом в Тверском-Ямском переулке (ныне ул. Гашека).

До реконструкции Садового кольца, потеснившего все здания, новый дом выглядел внушительно: шикарные эркеры, лепные балконы. Нарядный, полукругом выгнутый палисадник, засаженный сортовой сиренью, отделял здание от тротуара.

Бельэтаж с длинными балконами на улицу занял сам Пигит (в те времена больше всего ценился бельэтаж, и именно с окнами на улицу).

Заселила дом «чистая публика»: директор Казанской железной дороги, управляющий московской конторой императорских театров. Одно время здесь проживал миллионер Рябушинский — в огромной художественной студии, снятой якобы для занятий живописью, а на самом деле для внесемейных развлечений. Таких расположенных друг над другом студий в доме было три. Рябушинский занимал верхнюю, там и стрелялся, впрочем, без серьезных последствий. Главным образом в доме квартировала интеллигенция — врачи, художники, адвокаты, артисты. С домом Пигита связаны известные имена. В студиях, снимаемых Кончаловским, известным живописцем и театральным художником Якуловым, бывали Шаляпин, Игумнов, Прокофьев, Качалов, Москвин, Алексей Толстой, Мейерхольд, Орлов, Коненков, подолгу гостил Суриков.

Ниже этажом в кв. 21 жила величественная женщина с пышной рыжей шевелюрой — оперная артистка Львова. Она же редактор-издатель «Мезонина поэзии» и постановщик любительских спектаклей, проходивших в доме Пигита.

В студии Г.Б. Якулова, живописца и театрального художника, встретился с Айседорой Дункан Сергей Есенин.

Революция превратила этот «рассадник чуждой идеологии» в рабочую коммуну — первую в Москве. Гибель знаменитого дома в огне Булгаков описал в рассказе **«№ 13. Дом Эльпит — Рабкоммуна».**

«Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась ста семьюдесятью окнами на асфальтированпый двор с каменной девушкой у фонтана… На гигантском

гладком полукруге у подъездов ежевечерне клокотали и содрогались машины, на кончиках оглоблей лихачей сияли фонарики-сударики. Ах, до чего же был известный дом. Шикарный дом Эльпит…

В кронштейнах на лестничных площадках горели лампочки… В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов… ковры… в кабинетах беззвучно-торжественно. Массивные кожаные кресла. И до самых верхних площадок жили крупные, массивные люди. Директор банка, умница государственный чиновник с лицом Сен-Бри из «Гугенотов», фабрикант (афинские ночи со съемками при магнии), золотистые, выкормленные женщины, всемирный феноменальный бас-солист, еще генерал, еще… и мелочь: присяжные поверенные в визитках, доктора по абортам…

Большое было время…

И ничего не стало…

Страшно жить, когда падают царства. И самая память стала угасать.

…

Эльпит сам ушел в чем был.

Вот тогда у ворот, рядом с фонарем (огненный № 13), прилипла белая табличка и странная надпись на ней «Рабком-му на». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. Пианино умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами, поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье. Примусы шипели по-змеиному, и ночью плыл по лестнице щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерне мрак…»

Зимой знаменитый дом, заселенный пьянствующими пролетариями, погиб в огне по вине все той же темной вездесущей Аннушки. Рассказ предназначался для публикации (главной заботой Булгакова в эти годы был кусок хлеба). А значит — никаких оханий по погибшей империи и осмеяния новых хозяев жизни быть в нем не должно было. Однако в этом рассказе при всей ироничности его интонации картина обрисована страшная. Не дом Эльпита (Пигита), а процветающее прошлое могучей России сгинуло в огне безумного переворота. Здесь, так же как в поразительном по эмоциональному воздействию рассказе «Ханский огонь», слышен вопль тоски по сметенному слепой стихией, навсегда ушедшему прошлому великой страны, ее истории, укладу, ее надеждам, людям.

Смердящая орда полуграмотных «пролетариев», ненавистных Булгакову, заняла место хозяев жизни со своим самогоном, тараканами, невежеством и беспробудным пьянством.

На самом деле детище Пигита существует до сих пор. Но его

превращение в Рабкоммуну приравнивалось Булгаковым к гибели.

В этом доме прожил Булгаков четыре года, сюда прислал героев «Мастера и Маргариты».

«Надо сказать, что квартира эта — № 50 — давно уже пользовалась если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года назад владелицей ее была вдова ювелира де Фурже (…) Анна Францевна три комнаты из пяти сдавала жильцам (…)

И вот два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры л юди начали бесследно исчезать (…)

Как бы то ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю, а затем в нее вселились — покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа, тоже с супругой. Совершенно естественно, что, как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что».

«Маргарита со своим провожатым уже была у дверей квартиры № 350. Звонить не стали. Азазелло бесшумно открыл дверь своим ключом.

Первое, что поразило Маргариту, это тьма, в которую она попала (…) тут стали подниматься по каким-то широким ступеням, и Маргарите стало казаться, что и конца им не будет. Ее поразило, что в передней обыкновенной московской квартиры может поместиться эта необыкновенная невидимая, но хорошо ощущаемая бесконечная лестница (…), но самое поразительное — размеры этого помещения. Каким об разом все это может втиснуться в московскую квартиру?»

Фантазии Булгакову удалось вместить в квартиру № 50 не только преисподнюю, но и американское посольство, из приема в котором он вынес впечатления, вполне сгодившиеся для бала Боланда.

Торгсин — до дома 54, угловой с Садовым кольцом.

(Позже — «Смоленский» гастроном № 2. Гастроном № 1 — Елисеевский).

Весь первый этаж этого дома в 1933–1936 годах занимал крупнейший московский Торгсин.

«Примерно через четверть часа после начала пожара на Садовой, у зеркальных дверей торгсина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним

черный крупный кот.

Ловко извиваясь среди прохожих, гражданин открыл наружную дверь магазина. Но тут маленький, костлявый и крайне недоброжелательный швейцар преградил ему путь и раздраженно сказал:

— С котами нельзя.

— Я извиняюсь, — задребезжал длинный и п{гиложил узловатую руку к уху, как тугоухий, — с котами, вы говорите? А где же вы видите кота?

Швейцар выпучил глаза, и было отчего: никакого кота у ног гражданина уже не оказалось, а из-за плеча его вместо этого уже высовывался и порывался в магазин толстяк в рваной кепке, действительно, немного смахивающий рожей на кота. В руках у толстяка имелся примус.

Эта парочка посетителей почему-то не поправилась швейцару-мизантропу.

— У нас только на валюту, — прохрипел он, раздраженно глядя из-под лохматых, как бы молью изъеденных, сивых бровей.

— Дорогой мой, — задребезжал длинный, сверкая глазом из разбитого пенсне, — а откуда вам известно, что у меня ее нет? Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого, драгоценнейший страж! Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно. Перечтите еще раз хотя бы историю знаменитого калифа Гарун-аль-Рашида. Но в данном случае, откидывая эту историю временно в сторону, я хочу сказать вам, что я нажалуюсь на вас заведующему и порасскажу ему о вас таких вещей, что не пришлось бы вам покинуть ваш пост между сверкающими зеркальными дверями.

— У меня, может быть, полный примус валюты, — запальчиво встрял в разговор и котообразный толстяк, так и прущий в магазин. Сзади уже напирала и сердилась публика. С ненавистью и сомнением глядя на диковинную парочку, швейцар посторонился, и наши знакомые, Коровьев и Бегемот, очутились в магазине».

Здесь же имеется и описание торгсиновского богатства: *«Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились миткали и шифоны и сукна фабричные. В перспективу уходили целые ш табеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой, потрепанной туфле, а левую — в новой сверкающей лодочке, которою они и топали озабоченно в коврик. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны».*

А посетители Торгсина выглядели таким образом: «*Низенький, совершенно квадратный человек, бритый до синевы, в роговых*

очках, в новешенькой шляпе, не измятой и без подтеков на ленте, в сиреневом пальто и лайковых рыжих перчатках стоял у прилавка и что-то повелительно мычал. Продавец в чистом белом халате и синей шапочке обслуживал сиреневого клиента. Острейшим ножом… он снимал с жирной плачущей розовой лососины ее похожую на змеиную с серебристым отливом шкуру».

Дом появился лишь после Октябрьской революции. Да и то не сразу — его строили с 1928 по 1933 год. Соавторы-архитекторы В. Маят и В. Олтаржевский формально придерживались модных в то время черт конструктивизма. Однако же мода была на исходе, и новый дом вышел не слишком похожим на знаменитые рабочие клубы-трансформеры.

Первый этаж арбатского дома отдали под **крупнейший московский Торгсин.**

Слово «торгсин» было официальным сокращением от целого предложения — торговля с иностранцами. Те иностранцы, приезжающие в наше государство по делам или по туристическому и одновременно идеологическому приглашению, могли приобрести в Торгсине привычное для своего образа жизни продовольствие и прочие товары. Впрочем, встречались тут и наши соотечественники. Схема была такая: человек сдает в Торгсине драгоценности, получает боны и на эти боны покупает вожделенный продуктовый и непродуктовый дефицит. А драгоценности идут на нужды индустриализации — например, на покупку станков.

Именно это имели в виду авторы популярной в то время пародии на стихи Александра Сергеевича Пушкина:

> «У Лукоморья дуб срубили,
> Златую цепь в Торгсин снесли,
> Кота в котлеты изрубили…»

Вскоре, однако же, Торгсин вышел из моды и закрылся. На его месте образован был общедоступный, но отнюдь не худший продуктовый магазин. Потомок известного рода промышленников Баташовых А.Н.Баташов вспоминал: «В Москву я попал четырех лет от роду… в 1938 году… В гастрономе на Смоленской на вбитом в потолок крюке висела рыба, хвост которой лежал на полу; в молочном отделе продавалось кофейное молоко — от бурых коровок, как мне объяснили».

А еще было в том гастрономе смелое для Москвы новшество: зимой прямо на белый снег здесь проецировали слайды — магазинную рекламу. Прохожие ходили прямо по изображениям, им было весело, хотелось заглянуть туда, в тепло и в

аппетитнейшие запахи, и что-нибудь купить такое необычное. Расходы на рекламу, разумеется, себя оправдывали.

Путеводители по городу расхваливали ассортимент «общедоступного» гастронома: «В холодильных витринах гастрономического отдела магазина «Гастроном № 2» (получившего в народе название «смоленский гастроном») было свыше 50 сортов колбас, сосисок, сарделек, сыров, масла. В хлебобулочном отделе — 55 названий различных изделий. Более 400 сортов конфет, печенья, тортов, пирожных, шоколада, кексов, пряников — в кондитерском отделе».

Магазин с каждым годом делался все популярнее. Как, впрочем, и собственно дом. На нем, к примеру, в 1968 году установили доску из гранита с надписью: «Здесь в октябре 1917 года шли ожесточенные бои красногвардейцев и солдат Хамовнического района с отрядами юнкеров». А гастроном «Смоленский», или «№ 2», как и советская торговля вообще, тем временем входил в эру перманентного кризиса.

Место первой встречи Мастера и Маргариты.

Тверская, поворот в Благовещенский переулок.

«Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы! Нехороший цвет… Она повернула с Тверской в переулок и тут обернулась. Ну, Тверскую вы знаете? По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах!»

В каком месте Тверской произошла встреча, в романе точно не указано. Поворот в Благовещенский переулок или в Большой Гнездниковский вполне подходят под описание автора.

Театр Варьете, сад «Аквариум».

Прообразом Варьете послужил Московский мюзик-холл, существовавший в 1926–1936 годах и располагавшийся неподалеку от «нехорошей квартиры» по адресу: Б. Садовая, 18. Ныне здесь находится Московский театр сатиры. А до 1926 года тут размещался цирк братьев Никитиных, причем здание

специально было построено для этого цирка в 1911 году по проекту архитектора Нилуса. Цирк Никитиных упоминается в «Собачьем сердце». Программа мюзик-холла содержала ряд чисто цирковых номеров, вполне возможных из-за высокого купола. Эта возможность бывшего циркового помещения используется Булгаковым в эпизодах «сеанса черной магии», данной Воландом.

Рядом же находится сад «Аквариум», где Варенуха на свою беду повстречался с Бегемотом и Азазелло.

Увеселительный сад «Аквариум», как и более известный ныне сад «Эрмитаж», сформировался примерно в конце XIX века. До этого времени на территории владений 16 и 14 по Большой Садовой улице располагались сначала огороды и пруд Новодевичьего монастыря, потом различные постройки жилого и промышленного назначения.

Сам сад известен с 1893 года под названием «Чикаго». Уже тогда здесь располагались театр, несколько эстрад, павильон, большой фонтан с водопадом и железная ажурная башня для иллюминаций. На месте монастырского пруда был устроен «каменный грот».

В 1897 году владение было продано И.С. Соловейчику, который продолжил строительство и провел электрическое освещение, а в 1898 году театр и сад арендовал известный в то время антрепренер Шарль Омон. При нем сад и получил название «Аквариум». Существовала даже маленькая искусственная речка с мостиком от декоративного павильона к музыкальной эстраде. «В «Аквариуме» у Омона недурно», — писал А.П. Чехов в 1898 году.

В саду в разные годы работали тир, кегельбан, фотография, площадка для гимнастики, крытый ледовый каток, в одной из беседок размещался аквариум.

«Аквариум» был хорошо известен театралам. Здесь начала свою жизнь частная опера Зимина, давал представления театр «Буфф», а Леонид Утесов впервые выступил как руководитель комического джазового голосового оркестра. В 1923 году в зимнем театре «Аквариум» открылся мюзик-холл (с 1926 по 1936 год он работал в соседнем здании, где сейчас располагается театр Сатиры), а в 1927 году начинает свою работу театр Оперетты.

В 1959 году на месте старого зимнего театра «Аквариум» по проект) архитектора М.С. Жирова было построено новое здание театра на 1300 мест, где с тех пор размещается Театр имени Моссовета.

Булгаков весьма точно описал «Аквариум»: *«Большой кабинет во втором этаже театра двумя окнами выходил на Садовую, а одним… в летний сад Варьете, где помещались прохладительные буфеты, тир и открытая эстрада».*

Именно московский мюзик-холл, располагавшийся в здании театра «Аквариум», послужил прообразом булгаковского Варьете, где безобразничала свита Воланда.

В 1975 году территория сада «Аквариум» была превращена в зеленую площадку для отдыха. Тогда же была поставлена красивая ограда, отделившая сад от улицы.

Психиатрическая больница, где «лечились» Бездомный и Мастер — «*знаменитая психиатрическая клиника, недавно отстроенная под Москвой на берегу реки»,* — плод футуристической иронии Булгакова. Как врачу, ему, по-видимому, было интересно «выстроить» совершенную больницу, оснащенную чудесами техники и непомерно вежливым персоналом. Существование в Москве подобных психиатрических лечебных заведений не отмечено. Больше всего, со скидкой на утопизм, подходит больница им. Ганнушкина в Сокольниках, на берегу Яузы, она же — Научно-исследовательский институт психиатрии. Однако Сокольники во времена Булгакова были уже далеко не «под Москвой», да и весь лечебный антураж выглядит прямой насмешкой над действующими в Москве психиатрическими лечебницами. Идиллическая картина этого медицинского заведения, вероятно, могла бы соответствовать правительственной «Грановке» (Кремлевской больнице на улице им. Грановского), либо ЦКБ, случись такое чудо, что бездомный писатель и пьяный поэт были ошибочно приняты за ВИП-персон.

Дом Пашкова, угол Моховой и Знаменки, одно из красивейших зданий Москвы, на крыше которого в последних главах романа наблюдал за сгущающейся грозой Воланд и куда приходил к нему Левий Матвей.

«На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад, находились двое: Боланд и Азазелло. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Снизу их никто не мог видеть, Но им город был виден почти до самых краев».

Дом был построен в 1784–1786 годах по заказу капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Петра Егоровича Пашкова, сына денщика Петра I, предположительно, по проекту архитектора Василия Ивановича Баженова.

После своей постройки Пашков дом стал достопримечательностью Москвы и на протяжении многих лет вызывал удивление и считался одним из самых красивых зданий столицы. Местоположение здания важно и символически: Пашков дом стоит на холме напротив Боровицкого холма, увенчанного

Кремлем. Важно: Пашков дом был первым светским зданием в Москве, из окон которого можно было глядеть на башни и постройки Кремля **не** снизу вверх, а также наблюдать Ивановскую и Соборную площади.

Высокий холм создает подножие зданию. Некогда перед особняком находился сад.

Планировка сада, разбитого перед домом, поражала своим великолепием.

При расширении Моховой улицы участок, примыкающий к дому, сократился до одного склона. Первым владельцем дома был П.Е. Пашков, по фамилии которого особняк получил свое прозвище. В 1839 году дом был приобретен у наследников Пашкова казной для Московского университета. В 1843 году здесь разместился Дворянский институт, преобразованный из Университетского Благородного пансиона, позже пансион был превращен в 4-ю городскую гимназию.

В 1861 году здание было передано для хранения коллекций и библиотеки Румянцевского музея. В начале XIX века здание находилось в запустении.

В 1921 году, в связи с поступлением в музей после революции более четырехсот личных библиотек, реквизированных властью, все отделы музея были выведены из Пашкова дома. В нем осталась только библиотека музея, переименованная и преобразованная в знаменитую Публичную библиотеку СССР им. В.И. Ленина. Здание было отведено под отдел редких рукописей. В настоящее время дом Пашкова входит в комплекс зданий библиотеки, но несколько десятилетий не использовался, так как там постоянно производился ремонт, который начался в 1988 году и закончился в 2007-м.

Сцена на крыше дома Пашкова — прощание с Москвой.

«Воланд заговорил:
— Какой интересный город, не правда ли?
— Мессир, мне больше нравится Рим.
— Да, это дело вкуса…»

Булгаков завершал свой роман в 1939 году. С крыши дома Воланд не мог не видеть, что на набережной возведен огромный серый дом правительства. Не мог не знать, как увозили по ночам черные «воронки» из этого дома заслуженных деятелей партии и правительства.

Воланд не мог не заметить и того, что вместо храма Христа

Спасителя с его «золотыми шлемами» зияет обнесенная забором дыра. А Булгаков не мог не знать, что затевает на этом месте архитектор Иофан строительство Дворца Советов, увенчанного стометровой статуей Ленина.

Все это поместилось в формулировке «интересный город», как и все, что вошло в жизнь Булгакова в этом городе.

И далее в диалоге с Левием Матвеем следует добавление:

«Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени, ведь тени получаются от предметов и людей… но бывают тени от деревьев и от живых существ…»

Булгаков знал, что тени зла бывают и от деяний, и даже от наших мыслей. И верил, что «смерть есть, но не совсем. Духовное общение с человеком после его смерти отнюдь не прерывается, наоборот — оно может обостриться…И очень важно, чтобы так случилось. Атак случается не часто. Надо стараться… чтобы после смерти общение с ушедшим продолжалось».

Видимо, прогулки с булгаковскими героями и есть одна из форм такого общения.

«Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это!»